



Софья Андреевна Толстая Любовь и бунт. Дневник 1910 года

Текст предоставлен правообладателем.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6657999

*Толстая С. Любовь и бунт : Дневник 1910 года: КоЛибри, Азбука-Аттикус; Москва; 2013
ISBN 978-5-389-07821-5, 978-5-389-05159-1*

Аннотация

В 2010 году, когда отмечалась столетняя годовщина смерти Л. Н. Толстого, тема его ухода из Ясной Поляны вновь вызвала большой интерес, и не только в России, но и в мире. Так, в 2009 г. был снят фильм «Последнее воскресение» с Хелен Миррен и Джеймсом Макэвоем. Появилось много публикаций, посвященных последним месяцам жизни Толстого.

В основу этой книги положен дневник 1910 года жены писателя. Софья Андреевна Толстая прожила вместе с Л. Н. Толстым почти полвека, не одно десятилетие она была центром многолюдной и счастливой яснополянской жизни. Но 1910 год стал самым сложным в истории отношений гениального писателя и его жены: это был год духовного столкновения двух близких людей, и оно привело к тайному уходу Льва Толстого из дому. По существу, за драматическими картинами яснополянских баталий того года встает спор о смысле жизни, в который было втянуто все окружение Толстых.

Чтобы передать всю глубину и неоднозначность разворачивавшихся событий, в книге публикуются свидетельства других членов семьи и близких Л. Н. Толстому людей.

Содержание

Бесконечно близкие и бесконечно далекие	5
Быть женой гения	6
Чертков	11
В кривом зеркале	13
История завещания	15
Раскол и борьба, «неделание» и стремление к радостному приятию мира	19
Стекланный дом	22
Уход Льва Толстого, жизнь после его смерти	24
Дневник 1910 года	28
26 июня	28
30 июня	33
1 июля	35
2 июля	38
3 июля	39
4 июля	41
5 июля	43
6 июля	45
7 июля	47
8 июля	49
9 июля	50
10 июля	51
11 июля	53
12 июля	55
13 июля	58
14 июля	61
15 июля	65
16 июля	68
17 июля	71
18 июля	73
19 июля	75
Конец ознакомительного фрагмента.	77

Софья Андреевна Толстая

Любовь и бунт. Дневник 1910 года

© Н. Г. Михновец, состав, статья, комментарии, 2013

© ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН, иллюстрации, 2013

© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2013 Издательство
КоЛибри®

Бесконечно близкие и бесконечно далекие

История любви Льва Толстого и его жены Софьи Андреевны – это история двух людей, по точному определению их старшей дочери, Т. Л. Сухотиной, «бесконечно близких» друг другу и «бесконечно далеких». Трагическая глубина этого парадокса в полной мере проявилась в последние месяцы их совместной жизни – летом и осенью 1910 года.

Быть женой гения

23 сентября 1862 года юная Софья Берс, которой всего лишь месяц назад исполнилось восемнадцать лет, вышла замуж за известного в России писателя, тридцатичетырехлетнего графа Льва Толстого. Молодая семья поселилась в усадьбе мужа Ясная Поляна. Вместе они прожили 48 лет. Все эти годы Софья Андреевна вела дневники, каждое десятилетие семейной жизни имело для нее свои неповторимые особенности. Перед читателем предстают основные этапы супружеской жизни Софьи Андреевны, которые можно определить следующим образом: *стать* женой гения – *быть* женой гения – *остаться* женой гения. Особая страница в истории жизни Толстых – лето и осень 1910 года. В это драматичное для них время Софья Андреевна в своих дневниковых записях, а также при близких и посторонних людях не раз ставила под сомнение способность Толстого следовать в повседневной жизни своим же убеждениям.

В начале 1860-х годов дневник Софьи Андреевны – это история любви, в которой *он* всегда стоит в центре ее раздумий. При этом молодая жена размышляла над тем, какое место *она* занимает в жизни Льва Толстого, ей хотелось уяснить для себя, «как вести себя с ним»¹. Понимание неравенства с мужем и по уму, и по таланту приводило ее к поискам ответа на вопрос о собственном предназначении. И она обрела его в детях, в заботах о разрастающейся семье и большом хозяйстве. Первого ребенка Софья Андреевна родила незадолго до девятнадцатилетия, а последнего – в 43 года. Всего в семье Толстых родилось 13 детей.

Настоящее счастье пришло к ней, когда забота о маленьких детях сопровождалась духовным общением с Толстым. Софья Андреевна стала помощницей, собеседницей и самым близким другом Льва Толстого, создававшего во второй половине 1860-х годов свою великую книгу «Война и мир». Молодая жена многие годы занималась перепиской рукописей мужа. Она всегда была рядом с Толстым, и он любил ее.

В 1870-е годы Софья Андреевна все отчетливее осознавала масштаб личности своего мужа, в дневниковых записях ее взгляд был устремлен на Льва Толстого, на его занятия художественным творчеством, общение с широким кругом людей, на его увлечения и высказывания. Софья Толстая стала его первым биографом. Жизнь молодой графини была без остатка подчинена интересам семьи и мужа. Вместе с ним она учила детей и воспитывала их. Первые два десятилетия семейной жизни Толстых – самая радостная, светлая, счастливая пора в истории их любви. К этим годам прежде всего относится позднее высказывание С. А. Толстой: «Мы жили с Л. Н. одним широким течением жизни...»²

Однако 1879 год открыл новую страницу в этой истории. В тот год, испытывая глубокий духовный кризис, Толстой начал работу над «Исповедью». В ней он воссоздавал подспудный, внешне малозаметный процесс, в течение нескольких десятилетий происходивший в его духовной жизни. «Со мной случился переворот, который давно готовился во мне и зачатки которого всегда были во мне»³, – писал он. Еще в июне 1863 года он отметил в дневнике: «Ужасно, страшно, бессмысленно связать свое счастье с материальными условиями – жена, дети, здоровье, богатство» (48, 55). С годами он только укрепился в этом представлении. В «Исповеди», своем первом религиозно-философском произведении, Толстой стремился определить сущность происшедшего в нем духовного переворота. Страницы «Исповеди» раскрывали, как в напряженном диалоге Толстого с великими философами и

¹ Толстая С. А. Дневники: В 2 т. М., 1978. Т. 1. С. 48.

² Там же. Т. 2. С. 26.

³ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М.; Л., 1928–1958. Т. 23. С. 40. Далее том и страницы будут указаны в основном тексте в круглых скобках.

с великими религиозными мыслителями мира все «укладывалось» в его новое понимание смысла жизни.

Между тем Софья Андреевна оставалась в прежней жизни, хозяйственные и имущественные интересы, утрачивающие для ее мужа значение, становились только ее заботой, она по-прежнему самоотверженно занималась здоровьем детей и мужа, образованием и воспитанием детей. Когда в начале 1880-х годов появилась необходимость дать образование подросткам детям, семья переезжает из Ясной Поляны в Москву и поселяется в Хамовниках. Теперь Толстые будут приезжать в свое тульское имение только летом.

Впечатления от московской жизни 1880–1890-х годов способствовали углублению критического отношения Толстого к современным социальным институтам. Особенно тяжелы для него были городская господская праздная жизнь людей его круга, с одной стороны, и контрастирующая с ней бедность и нищета городского люда – с другой. Софья Андреевне казалось, что он впал «в крайнее соболезование всему народу и всем угнетенным», ей виделось в этом не только явное преувеличение с его стороны, но и особого рода пристрастность – склонность в первую очередь видеть только страдания. Супруги Толстые были связаны взаимной любовью, но в своих стремлениях они неуклонно расходились. Отсутствие единства во взглядах родителей на жизнь не лучшим образом сказывалось в деле воспитания детей – подрастающих дочерей и сыновей.

В Хамовниках и в Ясной Поляне дом Толстых всегда полон гостей, среди них знаменитые музыканты, художники и писатели. С изменением взглядов в мировоззрении Толстого расширился круг гостей, в дом Толстых стали приходиться его единомышленники и последователи, появлялись и простые люди, обращающиеся к Толстому с вопросами по важнейшим для них проблемам и ждущие его помощи; этих посетителей графиня называла «темными». Вместе с тем она не могла не принять новые условия семейной жизни. На ее глазах возрастала слава Льва Толстого – от всероссийской до мировой.

На протяжении всех лет семейной жизни Софья Андреевна отличалась силой воли и необыкновенным трудолюбием, она активно занималась издательскими делами мужа, неоднократно публиковала отдельные его произведения, а также предприняла восемь изданий собрания сочинений. Она решала вопросы по их реализации и хранению, собирала толстовские рукописи и определила их на хранение в музей. С. А. Толстая находила время и для занятий общественными делами, выступала в печати с письмами и опровержениями, в 1892 году, во время массового голода, опубликовала в газете «Русские ведомости» воззвание о благотворительности. В 1900–1902 годах Софья Андреевна была попечительницей приюта для беспризорных детей в Москве.

Ведая обширным домашним хозяйством и обладая поразительной энергией, она была всегда легка на подъем. Графиня лечила крестьян, она была готова не только руководить их работой, но порой и сама включалась в нее, как это было, к примеру, осенью 1905 года во время уборки картофеля. Графиня Толстая умела делать многое: и вязала, и вышивала, и шила, и штопала, и панталончики детям кроила, и снег могла пойти разгрести.

Софья Андреевна, без сомнения, была человеком ярким и незаурядным. У нее было много талантов. Она писала стихи и прозу, занималась рисунком и лепкой, фотографировала и сама печатала снимки. Ее перу принадлежат повести «Песня без слов» и «Чья вина?». Она писала мемуары и работала над книгой «Моя жизнь». В 1910 году рассказы С. А. Толстой для детей вышли отдельным сборником «Куколки-скелетцы». Особое место в ее жизни занимала музыка.

Правда, Толстой и младшая дочь Александра сходились во мнении, что ее интересы и увлечения не были глубокими и часто скользили по поверхности. Однако надо учесть: уровень их требований был очень высок, они мерили по себе.

Софья Андреевна была одарена талантом любить своих детей. Как писала старшая дочь Татьяна, она «до сумасшествия, до боли» любила их. Софья Толстая тяжело пережила смерть четырех малолетних детей⁴. Ее материнская любовь была обращена к сыновьям: Сергею, Илье, Льву, Андрею, Михаилу и Ванечке. Из трех дочерей Татьяна была ее любимицей и с годами – подругой. Пожалуй, только среднюю дочь Марию она недолюбливала. Мария же стала для отца близким другом. И отношения Софьи Андреевны с младшей дочерью Александрой были сложными.

В 1890-е годы в толстовской семье произошли важные изменения: старшие дети уже выросли, они устраивали собственную жизнь и покидали отчий дом. Софья Андреевна, еще недавно бывшая центром многолюдной и счастливой яснополянской жизни, так много лет отдавшая детям, впервые почувствовала себя одинокой и должна была найти в себе силы, чтобы начать новый этап своей жизни.

Драматическая страница в жизни Толстых была связана со смертью младшего ребенка и всеобщего любимца – сына Ванечки. В нем одном из сыновей Лев Николаевич Толстой видел продолжателя дела своей жизни. Софья Андреевна беззаветно любила этого удивительно талантливого ребенка. С его смертью между супругами Толстыми как будто разорвалась очень важная нить. Каждый из них тяжело переживал горькую утрату, но Софья Андреевна – трагически.

Именно тогда у нее возникает желание идеальной любви, и это совпадает с ее страстным увлечением музыкой. Софья Андреевна пытается забыть в занятиях музыкой, она часто посещает концерты и испытывает сердечную привязанность к музыканту С. И. Таневу. Вместе с тем между своими порывами, которые она называет «художественной тревогой», и долгом она выбирает последнее, не переставая любить Толстого и оставаясь ему верной женой.

От десятилетия к десятилетию общение с Толстым и переписка его трудов, широкая начитанность, увлечение философией определяли духовный рост Софьи Андреевны. В сложные для нее 1880–1890-е годы многое изменилось в ее внутренней жизни. Еще в 1886 году в дневниковых записях Софьи Андреевны появляется и тема смерти, и желание смерти.

В 1880–1890-е годы Софья Андреевна расходится с Толстым во взглядах на жизнь. Она тягостно переживала неприязнь к Православной церкви со стороны мужа и его окружения, ее оскорбляли его религиозные статьи, они, как она писала, разрушали в ней «что-то, производя бесплодную тревогу»⁵. Однако на отлучение Льва Толстого от Церкви она сочла необходимым отреагировать и, выражая несогласие, 26 февраля 1901 года написала письмо обер-прокурору Святейшего синода К. П. Победоносцеву и митрополиту Антонию.

Лев Толстой и Софья Андреевна по-разному относились к проблемам народной жизни и к вопросу о земельной собственности, что служило причиной раздора между ними. В «тайном» дневнике 1908 года Толстой записывал: «Жизнь здесь, в Ясной Поляне, вполне отравлена. Куда ни выйду – стыд и страдание. То грумондские мужики в остроге, то стражники⁶, то старик В. Суворов, который говорит: „Грешно, граф, ох, грешно, графиня обидела“» (56, 172). Через несколько дней он возвратился к этим же мыслям: «9 июля. Думаю написать ей письмо. Недоброго чувства, слава Богу, – нет. Одно все мучительнее и мучи-

⁴ Петр прожил год с небольшим, Николай не дожил до года, Варвара родилась и в тот же день умерла, чуть больше четырех лет прожил Алексей.

⁵ Толстая С. А. Дневники. Т. 1. С. 140.

⁶ В ответ на жалобу С. А. Толстой мужики были посажены в тюрьму за порубку леса. Софья Андреевна вынуждена была нанимать стражу. Сергей, старший сын Толстых, писал: «Если бы в округе стало известно, что в имении Толстых не взыскивают и не наказывают за кражи, порубки и отравы, то лишь сонный и ленивый не стал бы тащить все, что попало. Воцарился бы хаос, при котором нельзя было бы не только хозяйничать, но и жить» (Толстой С. Л. Очерки былого. Тула, 1968. С. 236).

тельнее: неправда безумной роскоши среди недолжной нищеты, нужды, среди которых я живу. Все делается хуже и хуже, тяжелее и тяжелее. Не могу забыть, не видеть» (56, 173). Видя тяжелое положение крестьян, Толстой резко критически относился к существующему порядку отношений между крестьянами и помещиками и мучительно переживал собственное положение, а для Софьи Андреевны жизнь народа и его чаяния оставались чуждыми.

Софья Андреевна, как отметил С. Л. Толстой, не разделяла «отрицательного отношения отца к собственности, но, наоборот, продолжала думать, что чем богаче она и ее дети, тем лучше. Она была не только женой, она была матерью, а матерям особенно свойственно мечтать о земных благах для своего потомства... <...> ...ее сыновья нередко обращались к ней с просьбой помочь им в их денежных делах, что она большей частью и делала»⁷.

В последние два десятилетия жизни Толстых любовь к мужу оказалась перед новыми испытаниями. Софья Андреевна, с одной стороны, понимает, что единомышленники и последователи Толстого видят в ее муже Учителя, но с другой – знает его в повседневной жизни. Для нее несомненно: между духовной жизнью гения и его обычной, земной жизнью существует явное противоречие. Ей, в отличие от единомышленников и учеников Толстого, ведомы его слабости: «Никто его не знает и не понимает; саму суть его характера и ума знаю лучше других я. Но что ни пиши, мне не поверят. Л. Н. человек огромного ума и таланта, человек с воображением и чувствительностью, чуткостью необычайными, но он человек без сердца и доброты настоящей. Доброта его *принципиальная*, но не *непосредственная*»⁸, – записывает она осенью 1908 года. В последние годы жизни с Толстым Софья Андреевна, как и прежде любящая мужа, позволяет себе критические высказывания в его адрес.

Отношения с мужем и место, занимаемое в его жизни, как и в далекие 1860-е, все так же оставались предметом ее раздумий. В конце 1902 года она пометила в дневнике: «И по уму, и по возрасту, и по имущественному положению – по всему муж мой был властен надо мной...»⁹ 1900-е годы привнесли в их семейную историю много горести: продолжительную болезнь Льва Толстого, смерть дочери Марии, рождение мертвых детей у Татьяны, семейные неурядицы у сыновей... В настроениях Софьи Андреевны во время болезни мужа приливы покоя и счастья, когда он отходил от черты, разделяющей смерть и жизнь, сменялись отчаянием от новых угроз его здоровью. В отношениях с ним было то раздражение, то безмерное счастье. В январе 1902 года она записала: «Мой Левочка умирает... И я поняла, что и моя жизнь не может остаться во мне без него. Сороковой год я живу с ним. Для всех он знаменитость, для меня он – все мое существование, наши жизни шли одна в другой, и, боже мой! Сколько накопилось виноватости, раскаяния... Все кончено, не вернешь. Помоги, Господи! Сколько любви, нежности я отдала ему, но сколько слабостей моих огорчали его! Прости, Господи! Прости, мой милый, милый дорогой муж!»¹⁰

1910-й – трагический в жизни Софьи Андреевны год. В августе она отметила: «Хочется на все его слабости закрыть глаза, а сердцем отвернуться и искать на стороне света, которого уже не нахожу в нашей семейной тьме»¹¹. Она остро ощущает свое одиночество и желает смерти: «молю Бога о смерти».

В те тяжелейшие летние и осенние месяцы они, как и прежде, любили друг друга, но их совместная жизнь была уже губительна для каждого. 14 июля 1910 года Толстой написал жене о том, что обусловило их семейную драму, и указал: «Главная причина была роковая

⁷ Там же. С. 235.

⁸ Толстая С. А. Дневники. Т. 2. С. 117.

⁹ Там же. С. 87.

¹⁰ Там же. С. 43.

¹¹ Там же. С. 182.

та, в которой одинаково не виноваты ни я, ни ты, – это наше совершенно противоположное понимание смысла и цели жизни» (84, 399).

Чертков

В 1880-е годы в жизни Толстых появляется В. Г. Чертков. В отличие от прежних самых близких друзей Толстого – поэта А. А. Фета и философа Н. Н. Страхова, этого человека Софья Андреевна невзлюбила. Уже 9 марта 1887 года она записала в дневнике: «Этот тупой, хитрый и неправдивый человек, лестью окутавший Л. Н., хочет (вероятно, это по-христиански) разрушить ту связь, которая скоро 25 лет нас так тесно связывала всячески!»¹² В 1910 году она подвела неопровержимо точный итог: «он у меня отнял душу моего мужа»¹³.

Владимир Григорьевич Чертков, родившийся в Санкт-Петербурге в богатой придворно-аристократической семье и в девятнадцать лет поступивший на службу в Конногвардейский полк, в начале 1880-х годов вышел в отставку, неожиданно для всех отказавшись от перспективы блестящей карьеры военного или государственного деятеля. Он уехал в родовое имение Чертковых – Лизиновку Воронежской губернии и начал активно заниматься деятельностью по улучшению жизни крестьян. Главным событием, определившим всю его дальнейшую судьбу, стала встреча с Толстым в 1883 году. Отныне всю свою жизнь Чертков посвятил собиранию, хранению, изданию и распространению произведений и идей Льва Толстого.

Чертков был разносторонне одаренным человеком. Он организовал издательство «Посредник», которое с марта 1885 года выпускало дешевые книги для народа. Вместе с П. И. Бирюковым и И. М. Трегубовым Чертков встал на защиту духоборов, опубликовав в Англии брошюру «Помогите!». За это ему грозила сибирская ссылка, но благодаря вмешательству императрицы-матери, с которой была близко знакома его матушка Елизавета Ивановна Черткова, он был выслан из России. С 1897 года проживая в Англии, Чертков занялся активной общественной деятельностью, участвовал в организации переселения духоборов в Канаду. Получаемые из России рукописи, черновики, копии писем и дневники Толстого он поместил в специальном хранилище, оборудованном в соответствии с последними достижениями техники. Чертков переводил произведения Толстого на английский язык, публиковал новые, а также прежде искаженные или запрещенные русской цензурой толстовские произведения. Он, как никто другой из современников и окружения Толстого, способствовал его прижизненной европейской и мировой известности.

В 1908 году Чертков с семьей вернулся в Россию и поселился на хуторе Телятинки, находившемся недалеко от Ясной Поляны. В марте 1909 года из-за доносов некоторых тульских помещиков Чертков получил постановление о высылке из Тульской губернии и обосновался с семьей в подмосковной усадьбе Крёкшино. В мае 1910 года Чертков с женой и сотрудниками переехал в имение Отрадное Московской губернии, однако летом получил разрешение вернуться в Телятинки на время пребывания там его матери Елизаветы Ивановны. В Астапове Чертков провел с Толстым последние дни и часы его жизни.

В духовной жизни Толстого особое место было отведено близким друзьям. В последние годы жизни самым близким человеком стал для него Чертков. Многолетняя переписка Толстого с ним составляет пять томов в Полном собрании сочинений писателя. В дневнике от 6 апреля 1884 года Толстой отметил в связи с Чертковым: «Он удивительно одноцентричен со мною» (49, 78). Через пятнадцать лет Толстой сетовал в письме другу Черткову: «А последнее время все эти пустяковые дела заслонили, затуманили нашу связь. И мне стало грустно и жалко и захотелось сбросить все, что мешает, и почувствовать опять ту дорогую, потому что не личную, а через Бога, связь мою с вами, очень сильную и дорогую мне. Ни с

¹² Там же. Т. 1. С. 116.

¹³ Там же. Т. 2. С. 183.

кем, как с вами (впрочем, всякая связь особенная), нет такой определенной Божеской связи – такого ясного отношения нашего через Бога» (88, 169). И через десять лет толстовское отношение к Черткову не изменилось: «Какая радость иметь такого друга, как вы. <...> И сближаемся не потому, что хотим этого, но потому, что стремимся к одному центру – Богу, высшему совершенству, доступному пониманию человека. И эта встреча на пути приближения к центру – великая радость» (89, 133). «Есть целая область мыслей, чувств, которыми я ни с кем иным не могу так естественно [делиться], – зная, что я вполне понят, – как с вами» (89, 230), – писал Толстой 26 октября 1910 года свое последнее письмо Черткову из Ясной Поляны.

Толстой высоко оценивал духовную близость с Чертковым, был благодарен другу-единомышленнику за преданность их общему делу. За несколько дней до смерти, 1 ноября, он написал своим старшим детям Сергею и Татьяне со станции Астапово: «Вы оба поймете, что Чертков, которого я призвал, находится в исключительном по отношению ко мне положении. Он посвятил свою жизнь на служение тому делу, которому и я служил в последние 40 лет моей жизни» (82, 222).

В кривом зеркале

26 июня С. А. Толстая сделала первую запись в своем дневнике 1910 года, после возвращения мужа от Черткова. Непосредственным толчком для начала записей стали известие о передаче мужем дневников на хранение Черткову и прочитанная запись из дневника Толстого: «Хочу попытаться сознательно бороться с Соней добром, любовью» (58, 67). Услышав о судьбе дневников мужа, она приняла решение дать отпор Черткову. В дневнике Софья Андреевна уже не столько стремилась запечатлеть те или иные события семейной жизни, сколько – откеститься от замаячившей перспективы явиться перед миром Ксантиппой, и она решительно защищала себя. В октябре С. А. Толстая утверждала: «Мои дневники – это искренний крик сердца и правдивые описания всего, что у нас происходит». Она настаивала на существовании еще одной – собственной правды.

Образ Черткова в дневниковых записях Софьи Андреевны и устных отзывах был неизменным: близкий друг и единомышленник Толстого предстал в них человеком грубым и глупым, идолом и злым фарисеем, сатаной или дьяволом. Жгучая ненависть к Черткову была причиной безумных поступков Софьи Андреевны, а неустанная борьба с ним – ее основной целью и болезненной идеей фикс. При появлении Черткова в яснополянском доме она испытывала крайнее нервное напряжение. На балконе яснополянского дома, стоя разувшись, графиня подслушивала разговоры Толстого с ним. Своего мужа, Черткова и дочь Сашу Софья Андреевна то и дело подозревала в заговорах против нее. Иногда она бесцеремонно вмешивалась в разговоры Толстого с гостями и бестактно вела себя с Чертковым, а в последние месяцы она, по существу, запретила мужу встречаться с ним. В своей борьбе с Чертковым Софья Андреевна не останавливалась ни перед чем. С гостями Ясной Поляны и с живущими в доме она неустанно делилась своими предположениями об особенных отношениях мужа с Чертковым. Было ли это проявлением болезненно-истерического ее состояния либо намеренным решением наносить удары по репутации Толстого, теперь можно только предполагать, неизбежно, правда, вставая при этом на сторону тех или иных участников яснополянских событий лета и осени 1910 года. Софья Андреевна часто теряла власть над собой: «Я так и видела их в своем воображении запертыми в комнате, с их вечными *тайными* о чем-то разговорами, и страданья от этих представлений тотчас же сворачивали мои мысли к пруду, к холодной воде, в которой я сейчас же, вот сию минуту, могу найти полное и вечное забвение всего и избавление от моих мук ревности и отчаяния!»¹⁴ Размышляя над драматическими яснополянскими событиями, Сергей Львович Толстой писал, что Софье Андреевне действительность «представлялась как бы в кривом зеркале, а временами она (Софья Андреевна. – Н. М.) теряла самообладание, так что в некоторых ее словах и поступках ее нельзя было признать вменяемой»¹⁵.

В те месяцы 1910 года Софья Андреевна уже не была столь внимательна, как прежде, к занятиям мужа и его здоровью. Могла в любой момент и днем, и во время ночного сна войти к нему, не раз устраивала безобразные, ужасающие их свидетелей сцены и изводила Толстого угрозами самоубийства. Ее подозрительности не было предела, она рылась в бумагах Толстого, дочери Саши и своего секретаря Варвары Феокритовой, прилюдно устраивала допрос слугам, следила за Толстым во время его прогулок.

Борьба с Чертковым неизбежно вела Софью Андреевну к противостоянию с мужем. Порой в своих повседневных высказываниях о нем она была весьма резка. В дневнике самой

¹⁴ Толстая С. А. Дневники. Т. 2. С. 217–218.

¹⁵ Толстой С. Л. Очерки былого. С. 240.

С. А. Толстой упоминаний об этих эмоциональных выпадах нет, но в нем есть другое, куда более существенное: обвинения в адрес Льва Толстого.

Софья Андреевна вопрошала, рассчитывая на понимание: «А кому, как не Льву Николаевичу, нужна эта роскошь? Доктор – для здоровья и ухода; две машины пишущие и две переписчицы – для писаний Льва Никол.; Булгаков – для корреспонденции; Илья Васильевич – лакей для ухода за стариком слабым. Хороший повар – для слабого желудка Льва Н – а. Вся же тяжесть добыванья средств, хозяйства, печатанье книг – все лежит на мне, чтоб всю жизнь давать Льву Ник. спокойствие, удобство и досуг для его работ»¹⁶. Иногда ей казалось, что только она одна и поняла настоящую причину происходящего: «За то, что я во многом прозрела, Лев Никол. ненавидит меня, и упорное отнятие дневников есть ближайшее орудие уязвить и наказать меня. Ох! уж это напускное христианство с злобой на самых близких вместо простой доброты и честной безбоязненной откровенности!»¹⁷

И Софья Андреевна весьма далеко заходила в своих нападках на Толстого: «Красота, чувственность, быстрая переменчивость, религиозность, вечное искание ее и истины – вот характеристика моего мужа. Он мне внушает, что охлаждение его ко мне – от моего *непонимания* его. А я знаю, что ему главное неприятно, что я вдруг так всецело *поняла* его, слишком поняла то, чего не видала раньше... <...> Как ему надоела его *роль* религиозного мыслителя и учителя, как он *устал* от этого!»¹⁸ Она была готова обличать и мужа, и Черткова: «Л. Н. на себя взял роль Христа, а на Черткова напустил роль любимого ученика Христа»¹⁹.

Дневниковые выпады Софьи Андреевны против Толстого были хлесткими и жесткими: «Говорил сегодня Лев Ник., что идеал христианства есть безбрачие и полное целомудрие. <...> И это хорошо, если б Л. Н. был монах, аскет и жил бы в безбрачии. А между тем по воле мужа я от него родила шестнадцать раз: живых тринадцать детей и трех неблагополучных»²⁰.

Соотношение земной правды и духовного идеала – проблема, определившая противостояние С. А. Толстой мужу и придавшая этому противостоянию трагическую глубину. Если для Толстого, как она же и отмечала, «идеал – *в стремлении* его достигнуть», то сама Софья Андреевна сталкивала идеал с текущими фактами своей семейной жизни и оказывалась в тупиках борьбы.

¹⁶ Толстая С. А. Дневники. Т. 2. С. 163.

¹⁷ Там же. С. 151–152.

¹⁸ Там же. С. 179.

¹⁹ Там же. С. 187.

²⁰ Там же. С. 191.

История завещания

Летом 1910 года, со времени возвращения Толстого из Крёкшина от Черткова, драматические события в семье развивались по нарастающей. Первым камнем преткновения стали дневники Толстого, отданные Черткову. Софья Андреевна потребовала их немедленного возвращения. Она добилась своего и 17 июля подвела итог столкновения: «Пока победила я, но прямо и правдиво говорю, – я выкупила дневники ценою жизни, и впредь будет то же. А Черткова за это возненавидела».

Однако центральным событием в яснополянской истории 1910 года стало завещание. Его история²¹ на протяжении многих лет была всегда неразрывно связана с намерением Льва Толстого уйти из семьи.

По мнению Сергея Львовича Толстого, его мать «не любила и не умела хозяйничать. Дело велось плохо, и трудно сказать – убыточно или доходно: правильного счетоводства не велось»²². «Наша семья, – писал он, – жила почти исключительно на доход от сочинений отца... <...> Яснополянский дом содержался частью продуктами с имения – мукой, молочными продуктами, сеном и овсом для лошадей и т. д., но главным образом деньгами, получаемыми с изданий сочинений Л. Н. Толстого»²³. 21 мая 1883 года Толстой дал жене «полную доверенность на ведение всех своих имущественных дел. Тогда же он передал ей право издания своих сочинений, напечатанных до 1881 года. Это право он предоставил ей сначала на словах, а затем по формальной доверенности»²⁴. Очень важно следующее рассуждение Сергея Львовича: «Передачу жене права на издание его сочинений до 1881 года, то есть собственности, нажитой его личным трудом, можно было бы назвать слабостью с его стороны. Но он руководствовался тем соображением, что до 1881 года он был другим человеком, что этот человек как бы умер, оставив свое наследство семье, а приблизительно с восемьдесят первого года родился новый человек, не признающий никакой собственности: с этого времени все им написанное не должно быть частной собственностью, а принадлежать всем. Этот новый человек надеялся, что со временем его семья последует за ним, и оставался жить с ней»²⁵.

Однако ни жена, ни старшие дети не поддерживали его. В 1884 году, в ночь с 17 на 18 июня, Толстой впервые принял решение «уйти совсем» от жены, и, взяв котомку, он покинул Ясную Поляну. В дневниковой записи от 18 июня 1884 года отмечено: «Я ушел и хотел уйти совсем, но ее беременность заставила меня вернуться с половины дороги в Тулу. Дома играют в винт бородатые мужики – молодые мои два сына. <...> Ах, как тяжело! Все-таки мне жалко ее. И все-таки не могу поверить тому, что она совсем деревянная... <...> Если кто управляет делами нашей жизни, то мне хочется упрекнуть его. Это слишком трудно и безжалостно. Безжалостно относительно ее. Я вижу, что она с усиливающейся быстротой идет к гибели и к страданиям душевным ужасным» (49, 105). 18 июня, утром, у Толстых родилась младшая дочь Александра, сыгравшая позднее, в событиях лета и осени 1910 года, немаловажную роль. В конце 1885 года Лев Толстой вновь попытался покинуть семью вследствие раздражения от московской роскошной барской жизни.

²¹ Факты, составляющие основу этой истории, были неоднократно перечислены и осмыслены во многих работах, назовем только некоторые из них: Чертков В. Г. Уход Толстого. Изд. 2-е. М., 2011. С. 32–45; Мейлах Б. Уход и смерть Льва Толстого. М., 1960. С. 207–257; Ядовкер Ю. Д. Завещание // Л. Н. Толстой: Энциклопедия / Под ред. Н. И. Бурнашевой. М., 2009. С. 242–243.

²² Толстой С. Л. Очерки былого. С. 236.

²³ Там же. С. 232.

²⁴ Там же.

²⁵ Там же. С. 234.

В 1891 году Толстой записывал в дневнике: «Не понимает она, и не понимают дети, расходуя деньги, что каждый рубль, проживаемый ими и наживаемый книгами, есть страдание, позор мой. Позор пускай, но за что ослабление того действия, которое могла бы иметь проповедь истины» (52, 44). В том же году Толстой публично отказался от прав литературной собственности на произведения, написанные и опубликованные после 1881 года. В 1891 году был произведен раздел имущества Толстого (земель и имений) между членами его семьи. Сергей Львович унаследовал имение в Чернском уезде (800 десятин земли), Татьяна Львовна – Овсянниково, Илья Львович – Гринёвку и 368 десятин земли при селе Никольско-Вяземское, Лев Львович – московский дом в Хамовниках и около 400 десятин в Самарской губернии. Андрей Львович и Александра Львовна – по 2000 десятин земли в Самарской губернии. Младший сын Иван и Софья Андреевна – Ясную Поляну. Неравенство долей было решено восполнить денежными выплатами. После смерти в 1895 году младшего сына Ивана принадлежащая ему часть Ясной Поляны перешла к братьям: Сергею, Илье, Льву, Андрею и Михаилу. При этом управлять яснополянским хозяйством продолжала Софья Андреевна.

27 марта 1895 года Лев Николаевич написал в дневнике неофициальное завещательное распоряжение, в котором обратился к наследникам с просьбой отказаться от авторских прав на его сочинения. Через несколько лет С. А. Толстая, узнав об этом, писала: «Отдать сочинения Л. Н. в *общую* собственность я считаю дурным и бессмысленным. Я люблю свою семью и желаю ей лучшего благосостояния, а передав сочинения в общественное достояние, мы наградим богатые фирмы издательские, вроде Маркса, Цетлина и другие. Я сказала Л. Н., что если он умрет раньше меня, я *не* исполню его желания и *не* откажусь от прав на его сочинения; и если б я считала это хорошим и справедливым, я *при жизни* его доставила бы ему эту радость отказа от прав, а после смерти это не имеет уже смысла для него»²⁶. К лету 1897 года относится третья попытка Толстого уйти из дома, это намерение не было им осуществлено.

11 августа 1908 года Толстой записал в дневнике завещательное пожелание, чтобы его наследники отдали его писания в общее пользование, а 4 февраля 1909 года он повторил просьбу к наследникам землю отдать крестьянам и отдать сочинения «не только те, которые отданы... но и *все, все* в общее пользование» (57, 22). В том же году, находясь осенью в гостях у Черткова в Крёкшине, Толстой в присутствии трех свидетелей подписал первый вариант своего формального завещания, в соответствии с которым рукописи и бумаги, оставшиеся после его смерти, не могут поступить в чью-либо частную собственность и могут безвозмездно издаваться и перепечатываться; они должны быть переданы в распоряжение Черткову. Однако юридической силы документ, как затем выяснилось, не имел: безадресная передача собственности была невозможна.

Появилась необходимость определиться с кандидатурой наследника, который будет верен воле Толстого, выбор пал на его младшую дочь Александру. 27 октября 1909 года она написала Черткову: «Решайте, все вы, друзья, можете ли вы доверить мне это, такой важности дело. Я вижу только этот один выход и потому возьмусь за это (и знаю, что вы не пожалеете, что доверились мне), хотя много тяжелого придется пережить»²⁷. 1 ноября и уже в Ясной Поляне Толстой подписал текст завещания, по которому единственной наследницей его литературного наследия назначалась Александра Львовна Толстая.

Толстому были близки дочери: Мария, Татьяна, а в последние годы, уже после смерти Марии, – Александра. О своем особом чувстве привязанности к младшей дочери он писал в дневнике: «Саша и трогает и тревожит. И рад, что люблю ее, и браню себя за то, что слишком исключительно» (58, 18). Она была его помощницей, единомышленницей и верным другом.

²⁶ Толстая С. А. Дневники. Т. 2. С. 77.

²⁷ Цит. по: Ореханов Г., священник. А. Л. Толстая и В. Г. Чертков // Яснополянский сборник – 2010. Тула, 2010. С. 319.

Все годы Толстой оставался под прицелом упреков. Многие современники воспринимали «барскую» жизнь Толстого в Ясной Поляне как противоречащую его учению. Высокие идеалы, к которым он призывал и которым сам же, с их точки зрения, не следовал, виделись несостоятельными. На письмо киевского студента, в котором тот советовал отказаться от графского титула, раздать имущество бедным и покинуть дом, Толстой ответил: «...одно, что я живу в семье с женою и дочерью в ужасных, постыдных условиях роскоши среди окружающей нищеты, не переставая и все больше и больше мучает меня, и нет дня, чтобы я не думал об исполнении вашего совета» (81, 104).

Чертков, по мнению С. Л. Толстого, «был убежден в том, что передача Львом Толстым своих произведений на общую пользу имеет громадное общественное значение, так как это должно способствовать удешевлению и доступности этих произведений для широких масс». Если же эта передача не состоится, то Чертков, как замечал Сергей Львович, понимал, что «будет даже отстранен от дела, составлявшего главный интерес его жизни»²⁸.

Окончательное подписание Толстым документа о завещании состоялось 22 июля 1910 года. Александра Львовна Толстая становилась распорядительницей его литературного наследия. Впоследствии, 16 ноября 1910 года, это завещание и было утверждено Тульским окружным судом. 31 июля Толстой дополнил и подписал подготовленную Чертковым объяснительную записку к завещанию, согласно которой тому после смерти писателя должны быть отданы все рукописи и бумаги для их пересмотра, выборки и подготовки к изданию.

Вопрос о необходимости публичного объявления Львом Толстым Софье Андреевне и другим членам семьи этого завещания стал предметом горячей дискуссии между его единомышленниками – Бирюковым и Чертковым. Позже, в письме к Черткову от 11 октября, Александра Толстая размышляла: «На днях много думала о завещании отца, и пришло в голову, особенно после разговора с Пав[лом] Ив[ановичем] Бирюковым, что лучше было бы написать такое завещание и закрепить его подписями свидетелей, объявить сыновьям при жизни о своем желании и воле. <...> Из разговора с отцом вынесла впечатление, что он исполнит все, что нужно. Теперь думайте и решайте Вы, как лучше. Нельзя ли поднять речь о всех сочинениях? Прошу Вас, не медлите. Когда придет Таня, будет много труднее, а может быть, и совсем невозможно что-либо устроить»²⁹.

Толстой не известил свою семью о своей последней воле, ни Софья Андреевна, ни ее сыновья не были в курсе свершившегося подписания.

Еще 4 июля 1910 года С. А. Толстая записывала: «Да, Лев Никол. наполовину ушел от нас, мирских, низменных людей, и надо это помнить ежеминутно. Как я желала бы приблизиться к нему, постареть, угомонить мою страстную, мятущуюся душу и вместе с ним понять тщету всего земного!

Где-то, на дне души, я чувствую это духовное настроение; я познала путь к нему, когда умер Ванечка, и я буду стараться найти его еще при моей жизни, а главное, при жизни Левочки, моего мужа. Трудно удержать это настроение, когда везешь тяжесть мирских забот, хозяйства, изданий, прислуги, отношений с людьми, их злобу, отношений с детьми и когда в моих руках отвратительное орудие, деньги – *Деньги!*»³⁰

Летом и осенью 1910 года она не смогла вернуть себе то особое душевное настроение и, заподозрив существование завещания, вступила в борьбу, пытаясь отстоять интересы своих детей и внуков. При этом сложившаяся ситуация была парадоксальной: своими нападениями Софья Андреевна и ее сыновья Лев и Андрей, грозящие объявить о старческом слабоумии и сумасшествии Толстого, не зная того, сначала буквально подталкивали его к напи-

²⁸ Толстой С. Л. Очерки былого. С. 238–239.

²⁹ Цит. по: Ореханов Г., священник. А. Л. Толстая и В. Г. Чертков. С. 319.

³⁰ Толстая С. А. Дневники. Т. 2. С. 130.

санию завещания в окончательном варианте, а потом только укрепляли его в правильности принятого решения.

Тяжесть ситуации после подписания завещания, а затем и после его официального утверждения в ноябре 1910 года легла на плечи двадцатилетней Александры Львовны Толстой: она должна была противостоять всей семье.

Раскол и борьба, «неделание» и стремление к радостному приятию мира

Сергей Львович Толстой, размышляя об отношениях своей матери и Черткова, писал о происшедшем расколе: «Этих двух лиц окружают сочувствующие им: Софью Андреевну – ее сыновья, Лев и Андрей, а также некоторые приезжие родственники, друзья и знакомые, Черткова – его жена Анна Константиновна, моя сестра Саша, В. М. Феокритова, А. Б. Гольденвейзер и другие. И вот вокруг отца возникает то, что я не могу назвать иначе как интригой. Софья Андреевна пристает ко Льву Николаевичу с вопросом, есть ли завещание, он отвечает уклончиво; она устраивает истерические сцены, грозя самоубийством. Мой брат Андрей прямо требует от отца ответа, отец отвечает, что не считает нужным ему отвечать. То же отвечает брату Льву сестра Александра. <...> А Чертков и сочувствующие ему развивают усиленную деятельность для сохранения тайны завещания. Чертков пишет Льву Николаевичу письма, в которых старается доказать, что жена его – изверг, что она и некоторые сыновья его обуреваемы корыстью; Александра Львовна резка с матерью и, будучи неожиданно для себя назначена наследницей произведений отца, вполне подпадает под влияние Черткова; А. Б. Гольденвейзер и В. М. Феокритова вмешиваются в семейные дела Льва Николаевича и осведомляют его о полубезумных речах Софьи Андреевны и т. д. <...> ...со стороны В. Г. Черткова, А. Б. Гольденвейзера, В. М. Феокритовой и, к сожалению, сестры Саши возникло какое-то враждебное отношение к матери, а отцу приходилось постоянно выслушивать от них неблагоприятные отзывы о ней и сообщения о том, что она говорит, что делает и что предполагает делать»³¹.

Летом 1910 года Софья Андреевна была одинока. Старшую свою дочь Татьяну она любила и даже побаивалась, но та жила отдельно. Свою младшую дочь Александру она считала разлучницей и предательницей, между ними случались острые стычки. Александра не раз просила мать не мучить отца, с такой просьбой к Софье Андреевне обращался даже Лев Львович. Но мать не слышала своих детей. С другими людьми, приезжавшими в Ясную Поляну, Софья Андреевна бывала резка, она не столько притягивала их к себе, сколько отталкивала.

Единственной ее поддержкой были сыновья Андрей и Лев, но они только подливали масла в огонь. Вернувшийся из Парижа Лев Львович, ссылаясь на мнение скульптора Огюста Родена, у которого брал уроки, дерзко заявил при отце, что и думать-то не надо: «все ясно, все давно разрешено» (в записи В. М. Феокритовой). На следующий день после тайного подписания завещания ни о чем не подозревавший Лев разглагольствовал за обедом, правда в отсутствие отца, о деньгах как о «самой лучшей вещи на свете» и о своем желании иметь «миллиончик», на который можно купить решительно все – и славу, и любовь, и счастье, и здоровье. Другим днем братья за обеденным столом с удовольствием говорили при отце о скачках и автомобилях, о Париже и деньгах. Все это шло вразрез с тогдашними раздумьями, предпочтениями и решениями Толстого.

Ситуация накалялась день ото дня. Лев Львович, демонстративно встав на сторону матери, по свидетельству Феокритовой, подслушивал и передавал Софье Андреевне услышанное, вмешивался в хозяйственные дела и спровоцировал ее разбирательство, предпринятое через приказчика и урядника, с ясенскими мужиками, косившими рожь. Один раз Лев Львович, защищая мать, оскорбил отца, а позднее упрекнул его в том, что тот, не согласуя

³¹ Толстой С. Л. Очерки былого. С. 244–245, 249. В яснополянских событиях лета и осени 1910 г. приняли участие дети Толстых: 47-летний Сергей Львович, 46-летняя Татьяна Львовна, 44-летний Илья Львович, 41-летний Лев Львович, 32-летний Андрей Львович, 30-летний Михаил Львович, 26-летняя Александра Львовна.

свои поступки со своим же учением, непоследователен. И в разговоре с младшей сестрой, зная о ее безоглядной преданности отцу, Лев безжалостно заявил, что иногда его ненавидит. В день посещения врачей Лев Львович высказался вполне определенно: не мать надо лечить, а отца, сошедшего с ума. Андрей Львович, по свидетельству В. М. Феокритовой, выкрикивая, что любит мать и ненавидит отца, был солидарен с братом и утверждал, что выживший из ума старик своим непотворением и проповедью добра вызвал у сыновей злобу и презрение³². Братьев Льва и Андрея, не привыкших ограничивать себя в средствах, чрезвычайно волновал вопрос о существовании завещания, о чем они допытывались у Александры, а также – об открывающейся в перспективе возможности опубликовать и выручить хорошие деньги за еще не опубликованные толстовские художественные произведения (повести «Хаджи Мурат», «Отец Сергей», «Фальшивый купон»).

Летом 1910 года сыновья Лев и Андрей, в то время уже духовно чуждые Толстому, вызывали у него тревогу, а иногда и глубокое раздражение. Особенно тяжело ему было присутствие сына Льва, в котором он видел одну поверхностность и самодовольство. В своем дневнике Толстой записал: «Сыновья, Андрей и Лев, очень тяжелы, хотя разнообразно, каждый по-своему» (58, 84). Для Толстого оставить наследство Льву, Андрею, а также Михаилу – способствовать их дальнейшей распушенности, увеличивать зло.

Толстой, с болью переживая саму ситуацию противостояния и борьбы в своей семье, записал в дни совместного пребывания Андрея и Льва в Ясной Поляне: «Чертков вовлек меня в борьбу, и борьба эта очень и тяжела, и противна мне. <...> В теперешнем положении моем едва ли не главное нужное – это *неделание, неговорение*. Сегодня живо понял, что мне нужно только не портить своего положения и живо помнить, что мне *ничего, ничего* не нужно» (58, 129–130). Толстой был твердо уверен: злом нельзя бороться со злом.

Толстой был удивительно мужественен, терпелив и заботлив в общении с женой. После бурной ночи с 10 на 11 июля, боясь не успеть переговорить со своим окружением, он оставил для всех записочку, призывая не отвечать Софье Андреевне злом на зло: «Ради Бога, никто не упрекайте мамá и будьте с нею добры и кротки. Л. Т.» (82, 71). В толстовском дневнике есть пронзительная запись от 3 сентября 1910 года: «Дома также мучительно тяжело. Держись Л[ев] Н[иколаевич]». И добавлено: «Стараюсь» (58, 99).

При этом тогдашнее отношение Толстого к жене не было однозначным. Он оставался верен своим представлениям и в самом главном жене не уступал. Вместе с тем, раздумывая над происходящим, он прежде всего обвинял себя за грехи молодости. После тяжелейших истерических сцен Софьи Андреевны он заставлял себя преодолевать неприязнь к жене. В отличие от других, он полагал, что она больна и нуждается в заботе, что ее нельзя оставить одну, нельзя уйти. Поступить так означало для него эгоистически думать в первую очередь о себе. Толстой был глубоко к ней привязан и драматически переживал события супружеской жизни. 30 августа Толстой напишет пронзительные строчки, думая о вернувшейся в Ясную Поляну жене: «Грустно без нее. Страшно за нее. Нет успокоения» (58, 97).

Ситуация семейного раскола и борьбы постепенно затягивала в свою орбиту многих людей – и самых близких, и единомышленников, и яснополянских гостей. В ее центре находился Лев Толстой. Он стоически переживал происходящее, изредка позволяя сказать себе: «От Черткова письма с упреками и обличениями. Они разрывают меня на части. Иногда думается: уйти ото всех» (58, 138). Уйти и спокойно умереть.

В то же время Льву Толстому были открыты иные горизонты. «Любовь – говорил он, – соединение душ, разделенных телами друг от друга. Любовь – одно из проявлений Бога,

³² А. Л. Толстой явно преувеличивал: Сергей Львович не поддерживал братьев Льва и Андрея, а другие братья – Михаил и Илья – все-таки не занимали по отношению к отцу агрессивно-враждебную позицию. Дневник В. М. Феокритовой не опубликован, его рукопись находится в Государственном музее Л. Н. Толстого в Москве.

как разумение – тоже одно из Его проявлений. Вероятно, есть и другие проявления Бога. Посредством любви и разумения мы познаем Бога, но во всей полноте существо Бога нам не открыто. Оно непостижимо, и, как у вас и выходит, в любви мы стремимся познать Божественную сущность»³³.

И Толстой находил в себе силы оставаться собой и продолжал жить по своему разумению, его видение бытия было несравненно шире и богаче. Восьмидесятидвухлетний Толстой, как и прежде, жил напряженной духовной жизнью, много размышлял, читал, перечитывал любимых философов и писателей, продолжал писать и заниматься составлением книги «Путь жизни», вел дневники, был полон новых художественных замыслов. Его чтение оставалось многоохватным: от работ по психиатрии, философии до новинок французской художественной литературы. Круг интересов был, как всегда, широк. Толстого занимал вопрос о составе книг в библиотеке для народа, и он занялся сортировкой книг издательства «Посредник» для народного чтения, отбирая самые необходимые. Он полемически откликался и на знаковые культурные события, в октябре, к примеру, осмысляя популярность Достоевского как особый, требующий к себе внимания культурный феномен. До конца своих дней испытывая глубокий интерес к жизни, Толстой, как и прежде, общался с широким кругом людей. Для него были дороги не только диалоги с единомышленниками и рассказы интересных гостей Ясной Поляны, но и разговоры со случайно встреченными людьми из народа. Он получал много писем, часто от незнакомых людей, и старался не оставить их без внимания, каждому ответить лично или через помощников. Любил длительные прогулки верхом по своим любимым местам, а вечерами сражаться с Гольденвейзером в шахматы и слушать музыку в его исполнении. Кипучую деятельность Толстого время от времени приостанавливало только физическое недомогание.

Толстой, в решении материальных вопросов своей семьи проходя по тернистому пути от шекспировского короля Лира, раздавшего свою собственность, но все-таки не по своей воле порвавшего с ней до конца, – до отказавшегося от нее в полной мере Франциска Ассизского, стремился к радостному приятию мира. Современный исследователь справедливо пишет: «Надо думать, Франциск „передал“ Толстому опыт внутреннего преображения реальности в перспективах и проекциях подлинного узрения»³⁴. Толстой как-то заметил В. Ф. Булгакову: «Когда живешь духовной жизнью, хоть мало-мальски, как это превращает все предметы! Когда испытываешь чье-нибудь недоброе отношение и отнесешься к этому так, как нужно, – знаете, как говорил Франциск? – то как это хорошо, какая радость!»³⁵

³³ Булгаков В. Ф. Л. Н. Толстой в последний год его жизни. М., 1989. С. 292.

³⁴ Исупов К. Г. Франциск Ассизский в памяти русской культуры // Исупов К. Г. Судьбы классического наследия и философско-эстетическая культура Серебряного века. СПб., 2010. С. 267.

³⁵ Булгаков В. Ф. Л. Н. Толстой в последний год его жизни. С. 300.

Стекланный дом

Татьяна Львовна Сухотина вспоминала: «Наш дом был стеклянным, открытым для всех проходящих. Каждый мог все видеть, проникать в интимные подробности нашей семейной жизни и выносить на публичный суд более или менее правдивые результаты своих наблюдений. Нам оставалось рассчитывать лишь на скромность наших посетителей»³⁶.

Свидетелей и хроникеров событий 1910 года в семье Толстых было предостаточно. 14 июня Булгаков отметил: «Беседа шла в столовой при всех. Тут же записывали за Львом Николаевичем четверо и даже больше людей: Владимир Григорьевич, Алеша Сергеенко и другие. Этакое старание было даже неприятно, и я нарочно ничего не записывал»³⁷.

Окружающие великого Толстого уже давно начали фиксировать каждое его слово, богаты фактами были ежедневные яснополянские записки деликатного человека доктора Д. П. Маковицкого, вместе с тем в 1910 году не только расширился круг записывающих, но и, в отдельных случаях, появилась заданность в наблюдениях. Она была определена Чертковым. Если первые месяцы Булгаков отправлял ему копии своего дневника, то затем прекратил это делать, усомнившись в чертковском бескорыстии. В яснополянской истории лета и осени 1910 года этот молодой человек, иногда попадая в сложные ситуации, придерживался нейтралитета.

Александра Толстая и ее подруга и одновременно секретарь С. А. Толстой – Феокритова начали вести дневниковые записи по возвращении Толстого из Крёкшина в Ясную Поляну от Черткова, и, по-видимому, по настоянию последнего. Их внимание было сосредоточено по преимуществу на отношениях Льва Толстого с женой. С этими записями, доставлявшимися в Телятинки, знакомились супруги Чертковы и А. Б. Гольденвейзер, так они ежедневно были в курсе всех подробностей яснополянских баталий.

Сам угол зрения в воссоздании картины внутрисемейных отношений у Александры и у Варвары Михайловны был разным. Александра Толстая решительно не принимала в адрес своего отца осуждения тех современников, которые полагали, что Толстой, живущий в роскоши, первым же не придерживался собственного учения. Дочь признавала существование этого противоречия, однако, обращаясь к семейной драме, была уверена: отцу гораздо легче было бы уйти из дома, чем остаться. Лев Толстой, как виделось ей, приносил себя *в жертву*.

Положение Александры Толстой было весьма сложным: в центре внимания многих людей оказались отношения между ее матерью и отцом. Александра была поздним ребенком в семье Толстых, она, в отличие от старшей сестры Татьяны, уже не застала счастливую пору в отношениях родителей, на долю младшей дочери выпала заключительная и самая сложная часть их совместной жизни, и ее рано постигло чувство разочарования в матери. С юных лет и до конца своих дней Александра Львовна была верна делу отца, однако и мать – при всей сложности их взаимных отношений – оставалась матерью. В беседе со своим племянником Сергеем она вспоминала: «Мне было только двадцать лет... когда я осталась одна с родителями во время самого тяжелого периода их жизни. <...> Я была слишком молода и глупа, чтобы объективно оценить ситуацию»³⁸.

Положение Феокритовой было иным. Она не любила Софью Андреевну, не доверяла и не сочувствовала ей. Не случайно именно Феокритовой принадлежат записи тех эпизодов яснополянской жизни, о которых другие, если и оказывались их свидетелями, из деликат-

³⁶ Сухотина Т. Л. О смерти моего отца и об отдаленных причинах его ухода // Сухотина Т. Л. Воспоминания. М., 1976. С. 369.

³⁷ Булгаков В. Ф. Л. Н. Толстой в последний год его жизни. С. 246.

³⁸ Толстой С. М. Дети Толстого. Тула, 1994. С. 223.

ности все-таки не писали. Существуют факты, фиксация которых отнюдь не способствует углублению понимания происходящего. Напротив, их введение в круг осмысляемого не столько приближает к существу, сколько отдаляет от него, искажая и нарушая некую общую иерархию в соположении фактического материала, неизбежным следствием чего становится опасность перенести акцент с трагических сторон конфликта на сниженно-бытовые, что и произошло в дневнике Феокритовой.

Вокруг супругов Толстых было много молодых людей: Александра Толстая, Булгаков, Гольденвейзер. Они (правда, в меньшей степени это относится к Булгакову), в силу максимализма, присущего молодости, ждали от своего Учителя решительности в отношении жены, твердости и последовательности. Они готовы были видеть в его поступках терпеливость и кротость, но задуматься над драматической сложностью взаимоотношений двух любящих друг друга людей – вряд ли.

Александра Львовна и Феокритова, как, впрочем, и Чертков, чаще всего усматривали в поведении Софьи Андреевны корысть и притворство. Чертков, писавший в 1922 году об уходе Толстого, отстаивал важнейшую, с его точки зрения, мысль: при осмыслении отношения Толстого к жене нужно исходить из идеи непротивления злу насилием. Чертков, обратившийся к яснополянской трагедии, твердо настаивал на самоотверженности и жертвенности Льва Толстого.

Сергей Львович Толстой думал иначе: «Не знаю, ушел ли бы отец из Ясной Поляны, если бы не было завещания. В своем дневнике он писал, что его роль „юрродство“; под этим словом он понимал осуждение людской молвой человека за видимое, но не действительное противоречие между верой и образом жизни; а перед своим уходом из Ясной Поляны он сознавался Марье Александровне Шмидт в своем желании уйти из дома как в слабости. И может быть, он бы не ушел, если бы не создалось в Ясной Поляне интриги вокруг завещания»³⁹.

У каждого из участников тех событий было свое понимание семейной трагедии Толстых. Тот же Лев Львович Толстой позднее, в своих парижских публикациях, указывал на другие ее стороны. Иначе и быть не могло: масштаб яснополянской истории лета и осени 1910 года – масштаб трагедии, когда в неразрешимом противоречии сошлись земная истина и истина духовного идеала.

В той необыкновенно сложной яснополянской ситуации, в центре которой стоял спор о смысле жизни между Толстым и женой, особую важность обретала способность каждого из его многочисленных свидетелей к сердечному участию и милосердию к ним, ибо сам Лев Толстой был уже стар, а С. А. Толстая, не выдерживающая напряжения борьбы с Чертковым, душевно не вполне здорова.

³⁹ Толстой С. Л. Очерки былого. С. 249.

Уход Льва Толстого, жизнь после его смерти

Мысль о смерти и желание смерти постоянны в раздумьях Софьи Андреевны Толстой летом и осенью 1910 года. «Ездила купаться, и мне стало хуже. Уходила вода из Воронки – как моя жизнь, и пока утопиться в ней трудно; ездила главное, чтоб примериться, насколько можно углубиться в воде Воронки». Софья Андреевна, в последние месяцы не раз угрожавшая мужу самоубийством, получив оглушительное сообщение об уходе Толстого, выбежала из дому и бросилась в Средний пруд. Ее вытащили, но затем последовали ее новые попытки. Если бы ей удалось осуществить самоубийство, то трудно представить, что было бы суждено пережить Толстому. В истории его ухода появился бы другой смысл. Софья Андреевна видела себя *мученицей* и именно такой хотела бы предстать перед миром, вместе с тем ее отчаяние было опустошающим и безмерным.

Старшая дочь Толстых писала, что вряд ли возможно назвать какую-либо одну, преобладающую над другими причину ухода Льва Толстого из Ясной Поляны: натура ее отца была «богатой, страстной и сложной», «его поведение было результатом целого ряда причин, сочетавшихся, смешивавшихся, сталкивавшихся, противоречивших друг другу»⁴⁰.

Для единомышленников – супругов Чертковых, А. Сергеевко, А. Л. Толстой – с уходом Толстого из Ясной Поляны начался новый и чуть ли не решающий виток борьбы за его учение, за непогрешимость Учителя. По мысли Черткова, высказанной в 1922 году, Толстой если бы и был в своей личной жизни «непоследователен и далек от осуществления своих собственных верований, то и в таком случае он все же заслужил бы великую благодарность за тот громадный, не поддающийся никакому измерению толчок, который он дал развитию человеческого сознания своей умственной работой». Судьбе же, продолжает Чертков, имея в виду прежде всего уход Толстого из семьи, «угодно было в лице Толстого создать не только гениального мыслителя, но и великого подвижника»⁴¹.

Понятно, что в октябрьские дни 1910 года единомышленники не поспешили известить близких родственников о месте пребывания заболевшего Толстого⁴². Татьяна Львовна Сухотина вспоминала: «Отец умирает где-то поблизости, а я не знаю, где он. И я не могу за ним ухаживать. Может быть, я его больше и не увижу. Позволят ли мне хотя бы взглянуть на него на его смертном одре? Бессонная ночь. Настоящая пытка. И всю ночь из соседней комнаты до меня доносились рыдания и стоны матери. Вставши утром, я еще не знала, что делать, на что решиться. Но нашелся неизвестный нам человек, который понял и сжалился над семьей Толстого. Он телеграфировал нам: „Лев Николаевич в Астапове у начальника станции. Температура 40°“. До самой смерти буду я благодарна корреспонденту „Русского слова“ Орлову»⁴³.

При первой же встрече с дочерью Татьяной в Астапове, Толстой спросил: «Кто остался с мамá?» На вопрос: «Может быть, разговор на эту тему тебя волнует?» – он решительно прервал ее: «Говори, говори, что может быть для меня важнее?»⁴⁴ Однако вызвать ее не захотел. По решению детей Софья Андреевна не была допущена к умирающему мужу.

⁴⁰ Сухотина Т. Л. О смерти моего отца и об отдаленных причинах его ухода. С. 370.

⁴¹ Чертков В. Г. Уход Толстого. С. 10.

⁴² Отдельные моменты в событиях тех дней и часов, по-видимому, и до сих пор не до конца ясны. См. об этом: Аброимова В. Н., Краснов Г. В. История одной ложной телеграммы глазами Сухотиных, Чертковых и В. Ф. Булгакова // Яснополянский сборник – 2006. Тула, 2006.

⁴³ Сухотина Т. Л. О смерти моего отца и об отдаленных причинах его ухода. С. 422.

⁴⁴ Там же.

Последние слова умирающего Толстого были адресованы старшему сыну: «Сережа! Я люблю истину... Очень... люблю истину»⁴⁵.

Александра Львовна Толстая после смерти отца на средства, вырученные от подготовленного и изданного совместно с Чертковым трехтомного издания «Посмертные художественные произведения Л. Н. Толстого» (1911) и исполняя волю отца, выкупала у семьи земли Ясной Поляны, передавая их крестьянам.

В 1911 году Чертков написал и издал книгу «О последних днях Л. Н. Толстого в Астапово», а в 1922-м – «Уход Толстого». Он перевез в 1913 году из Англии собранный им архив и передал его на хранение в Российскую академию наук, а позднее, в 1926 году, в Государственный музей Л. Н. Толстого. С 1918 года совместно с Александрой Толстой Чертков начал подготовку Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого в 90 томах. С 1928 года он занимал должность главного редактора этого издания, вкладывал свои деньги в издание произведений Толстого в России и за рубежом. В деле создания этого уникального издания сочинений Толстого вклад Черткова огромен, неоценим.

Отношение Черткова к С. А. Толстой оставалось неизменным: это отношение, по словам С. Л. Толстого, «было далеко не добрым. Это выразилось в его письмах, поступках (особенно после смерти Льва Николаевича) и его статьях („Уход Толстого“, предисловие к посмертным сочинениям и др.)»⁴⁶.

Отношения между Александрой Толстой и Чертковым в 1913–1914 годах становятся напряженными: она перестает доверять своему другу. В конце 1913 года А. Л. Толстая пишет ему: «Да, ты прав, то отношение, которое было у меня после смерти отца, когда я в вагоне сказала тебе о том, что после отца я считаю тебя самым близким человеком, исчезло. Не знаю, почему и как это случилось, это случилось так постепенно, что я перехода этого не могла уловить. Скажу только, что отчасти причиной этому было то, что на меня тяжестью давила твоя настойчивость в делах, когда я только потому, что считала, что отец тебе поручил всё, уступала в вещах, которые были против меня, а ты этого не замечал и делал по-своему. Может быть, я виновата в том, что я уступала, но, с одной стороны, убеждение в том, что ты главный распорядитель воли отца, а с другой, твой деспотичный характер побуждали меня к этому. И в душе каждый раз оставался осадок, что ты этого не чувствуешь и не понимаешь»⁴⁷. В начале 1914 года А. Л. Толстая предлагает Черткову в общении перейти с доверительного «ты» на официальное «Вы».

В 1920–1921 годах Чертков публично заявляет, что «согласно завещательным распоряжениям писателя, редактирование, равно как и посмертное первое издание всех произведений Л. Н. Толстого, было им поручено исключительно В. Г. Черткову»⁴⁸. Чертков указывает Александре Толстой, что она является формальной наследницей Л. Н. Толстого, осенью 1922 года отношения между ними близки к разрыву. Вместе с тем об этих отношениях нельзя судить однозначно: в 1931 году Александра Толстая написала Черткову из США: «Я ни на минуту никого не забываю, сердце мое, душа моя, мои мысли всегда с близкими мне. Любящая Вас А<лександра>. Очень беспокоюсь о здоровье Вашем»⁴⁹.

Александра Львовна Толстая прожила долгую и удивительно насыщенную событиями жизнь. В начале Первой мировой войны добровольно ушла на фронт, во время войны служила сестрой милосердия, была награждена тремя Георгиевскими крестами, вернулась

⁴⁵ Там же. С. 424.

⁴⁶ Толстой С. Л. Очерки былого. С. 241.

⁴⁷ Цит. по: Ореханов Г., священник. А. Л. Толстая и В. Г. Чертков. С. 324.

⁴⁸ Там же. С. 321.

⁴⁹ Там же. С. 323.

с войны в звании полковника. В революционные годы занялась делом издания и распространения сочинений отца. Она была неужодна новым властям и подвергалась арестам, провела около двух месяцев в тюрьме на Лубянке и больше года в заключении, оказавшись в лагере Новоспасского монастыря Москвы среди проституток, воровок и бандитов. С 1921 года до отъезда из СССР в октябре 1929 года, не раз сталкиваясь со сложностями в общении с официальными органами, служила в Ясной Поляне хранителем созданного там музея. Затем уехала в Японию для чтения лекций о Толстом и в 1931 году, отказавшись от советского гражданства, переехала жить в США, где порой испытывала серьезные материальные затруднения. Прожила в США 48 лет, активно занимаясь пропагандой взглядов Толстого и благотворительной деятельностью: выступала с лекциями о Толстом, в 1939 году организовала и возглавила Толстовский фонд помощи русским беженцам. В 1979 году на ее смерть отозвался тогдашний американский президент Дж. Э. Картер: «С ее кончиной оборвалась одна из последних живых нитей, связывавших нас с великим веком русской культуры. Нас может утешать лишь то, что она оставила после себя. Я думаю не только о ее усилиях представить нам литературное наследие ее отца, но и о том вечном памятнике, который она воздвигла сама себе, создав примерно сорок лет назад Толстовский фонд. Те тысячи, которых она облагодетельствовала своей помощью, когда они свободными людьми начинали новую жизнь в этой стране, всегда будут помнить Александру Толстую»⁵⁰. Всю свою жизнь Александра Толстая посвятила служению делу отца.

Т. Л. Сухотина вспоминала о последних днях Толстого: «Как-то раз, когда я около него дежурила, он позвал меня и сказал: „Многое падает на Соню. Мы плохо распорядились“». Татьяна Львовна переспросила, и «он повторил: „На Соню, на Соню многое падает“»⁵¹.

После смерти Толстого в адрес С. А. Толстой прозвучали обвинения. Однако самый страшный удар Софья Андреевна нанесла себе сама. По воспоминаниям Гольденвейзера, при их встрече 7 декабря 1910 года «она дрожащим, прерывающимся голосом стала говорить: „Что со мной было! Что со мной было! Как я могла это сделать?! Я сама не знаю, что со мной было... Александр Борисович, если бы вы знали, что я переживаю! Эти ужасные ночи!.. Как я могла дойти до такого ослепления?!.. Ведь я его убила!..“ Она вся дрожала и плакала...»⁵²

После смерти мужа Софья Андреевна осталась хозяйкой Ясной Поляны, в 1912 году ей, оказавшейся без средств к существованию, была пожалована пенсия. Все свои усилия она направила на увековечивание памяти Льва Толстого. Софья Андреевна сохранила значительную часть рукописей, писем и дневников Л. Н. Толстого (до 1881 г.), занялась подготовкой к печати сборника писем мужа к ней. В 1912 году Булгаков по договору с ней начал составлять научное описание библиотеки Толстого. Сама Софья Андреевна составляла описания предметов и книг по комнатам, сопровождая их объяснительными записками, с особой заботой она относилась к кабинету и спальне Толстого. Летом 1913 года публично известила почитателей Толстого о возможности посещения Ясной Поляны и сама стала принимать многочисленных экскурсантов, желающих познакомиться с его жизнью.

У Льва Толстого было особое чутье истории, на что в свое время обратил внимание замечательный исследователь его творчества Б. М. Эйхенбаум. Толстой не только сам был участником исторических событий, но и предвидел дальнейший ход истории, от многого предостерегал своих современников. Создавая свой последний роман «Воскресе-

⁵⁰ Цит. по: Толстая Александра Львовна (Н. А. Калинина) // Л. Н. Толстой: Энциклопедия / Под ред. Н. И. Бурнашевой. С. 306.

⁵¹ Сухотина Т. Л. О смерти моего отца и об отдаленных причинах его ухода. С. 423.

⁵² Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. М., 2002. С. 638.

ние» (опубл. 1899), он всматривался в начинающийся процесс мощного обновления русской жизни. Толстой призывал отказаться от собственности на землю и раздать ее крестьянам, резко критически отзывался о социальном устройстве Российской империи, при котором одни были непомерно богаты, а другие были обречены на бедность и нищету, бесправие и страдания.

То, что отстаивала Софья Андреевна, во имя чего боролась, заботясь о своих сыновьях и внуках, рушилось у нее на глазах в годы Первой мировой войны и Октябрьской революции 1917 года. Она противостояла Льву Толстому, но поведение сыновей после его смерти не приносило ей радости. Андрей Львович по-барски безоглядно тратил огромные деньги.

В 1916 году умер в Петрограде сын Андрей. После революции и первого десятилетия советской власти в России остался только старший сын Сергей, остальных же сыновей и дочерей Толстых судьба разбросала по миру. На долю каждого из них в большей или меньшей степени выпали испытания эмигрантской жизни в сложнейшие десятилетия первой половины XX века. Свой жизненный путь Татьяна Львовна завершила в Италии (1950), Лев Львович – в Швеции (1945), Михаил Львович – в Марокко (1944), Илья Львович и Александра Львовна – в США (1933 и 1979).

В годы, прожитые без Толстого, Софья Андреевна изменилась, стала, по воспоминаниям дочери Татьяны (после смерти своего мужа М. С. Сухотина переехавшей в Ясную Поляну в 1915 году), добра к окружающим. Теперь толстовские взгляды Софье Андреевне были «менее чужды». В революционные годы над Ясной Поляной нависла угроза погрома. Первый напор отбили яснополянские мужики, однако затем, при постоянной смене властей, положение яснополянской усадьбы оставалось неопределенным. В 1917–1919 годах Софья Андреевна и ее дети столкнулись с многочисленными сложностями и были вынуждены решать самые разные вопросы: от вопроса об управлении усадьбой, приходящей в упадок, до еды для всех, живущих в яснополянском доме. Они завели огород, Татьяна Львовна вязала платки и продавала их на рынке в Туле. Сергей и Александра, жившие в Москве, помогали сестре и матери. В отношениях Софьи Андреевны к Александре Львовне произошли важные перемены. В феврале 1918 года С. А. Толстая передала ей и сыну Сергею свои права на толстовские рукописи, а осенью того же года составила новое завещание и ввела младшую дочь в число своих наследников. Поздней осенью 1919 года старая графиня, помыв окна на холодном ветру, простыла. Она умирала от скоротечного воспаления легких. Софья Андреевна попросила прощения у находящихся около нее детей – сына Сергея, дочерей Татьяны и Александры. Софья Андреевна Толстая скончалась 4 ноября 1919 года в Ясной Поляне в возрасте семидесяти пяти лет.

Надежда Михновец

Дневник 1910 года

Мы жили с Л. Н. одним широким течением жизни...

С. А. Толстая

Главная причина была роковая та, в которой одинаково не виноваты ни я, ни ты, – это наше совершенно противоположное понимание смысла и цели жизни.

Л. Н. Толстой

26 июня

Лев Николаевич, муж мой, отдал все свои дневники с 1900 года Вл. Гр. Черткову и начал писать новую тетрадь там же, в гостях у Черткова, куда ездил гостить с 12 июня. В том дневнике, который он начал писать у Черткова, который он дал мне прочесть, между прочим сказано: «Хочу бороться с Соней добром и любовью». Бороться?! С чем бороться, когда я его так горячо и сильно люблю, когда одна моя мысль, одна забота – чтоб ему было хорошо. Но ему перед Чертковым и перед будущими поколениями, которые будут читать его дневники, нужно выставить себя несчастным и великодушно-добрым, *борющимся* с мнимым каким-то злом.

Жизнь моя с Льв. Ник. делается со дня на день невыносимее из-за бессердечия и жестокости по отношению ко мне. И все это постепенно и очень последовательно сделано Чертковым. Он всячески забрал в руки несчастного старика, он разлучил нас, он убил художественную искру в Л. Н. и разжег осуждение, ненависть, отрицание, которые чувствуются в статьях Л. Н. последних лет, на которые его подбивал его глупый злой гений.

Да, если верить в дьявола, то в Черткове он воплотился и разбил нашу жизнь.

Все эти дни я больна. Жизнь меня утомила, измучила, я устала от трудов самых разнообразных; живу одиноко, без помощи, без любви, молю Бога о смерти; вероятно, она не далека. Как умный человек, Лев Никол. знал способ, как от меня избавиться, и с помощью своего друга – Черткова убивал меня постепенно, и теперь скоро мне конец.

Заболела я внезапно. Жила одна с Варварой Михайловной в Ясной Поляне, Лев Никол., Саша и вся свита: доктор, секретарь и лакей – уехали в Мещерское к Чертковым. Для Сашиного здоровья после ее болезни, для чистоты и уничтожения пыли и заразы меня вынудили в доме все красить и исправлять полы. Я наняла всяких рабочих и сама таскала мебель, картины, вещи с помощью доброй Варвары Михайловны. Было и много и корректур, и хозяйственных дел. Все это меня утомило ужасно, разлука с Л. Н. стала тяжела, и со мной случился нервный припадок, настолько сильный, что Варвара Михайловна послала Льву Никол. телеграмму: «Сильный нервный припадок, пульс больше ста, лежит, плачет, бессонница». На эту телеграмму он написал в дневнике: «Получил телеграмму из Ясной. Тяжело». И не ответил ни слова, и, конечно, не поехал.

К вечеру мне стало настолько дурно, что от спазм в сердце, головной боли и невыносимого какого-то отчаяния я вся тряслась, зубы стучали, рыдания и спазмы душили горло. Я думала, что я умираю. В жизни моей не помню более тяжелого состояния души. Я испугалась и, как бы спасаясь от чего-то, естественно бросилась за помощью к любимому человеку и вторично ему телеграфировала уже сама: «Умоляю приехать завтра, 23-го». Утром 23-го, вместо того чтоб приехать с поездом, выходящим в одиннадцать часов утра, и помочь

мне, была прислана телеграмма: «*Удобнее* приехать 24-го утром, если необходимо, приедем ночным».

В слове *удобнее* я почувствовала стиль жесткосердого, холодного деспота Черткова. Состояние моего отчаяния, нервности и болей в сердце и голове дошло до последних пределов.

У Чертковых все разочли, что я не могу успеть и получить, и ответить телеграммой, но я тоже разочли и предвидела их хитрость, и мы послали телеграмму от имени Варвары Михайловны: «Думаю необходимо», но не простой, а *срочной*.

А в то время приехал к Чертковым скрипач Эрденко с женой. Разумеется, Чертков внушил Льву Никол., что неловко уезжать, и, конечно, не высказал, но подвел так, что скрипач, конечно, важней больной жены, и задержал Л. Н. А он и рад хоть лишнее утро пробыть еще с своим обожаемым красивым идиолом.

Вечером 23-го Лев Ник. – с своим хвостом – вернулся недовольный и неласковый. Насколько я считаю Черткова нашим *разлучником*, настолько Лев Ник. и Чертков считают *разлучницей* меня.

Произошло тяжелое объяснение, я высказала все, что у меня было на душе. Сгорбленный, жалкий сидел Лев Ник. на табуретке и почти все время молчал. И что мог бы он мне сказать? Минутами мне было ужасно жаль его. Если я не отравилась эти дни, то только потому, что я *трусиха*. Причин много, и надеюсь, что Господь меня приберет и без греховного самоубийства.

Во время нашего тяжелого объяснения вдруг из Льва Ник. выскочил зверь: злоба засверкала в глазах, он начал говорить что-то резкое, я ненавидела его в эту минуту и сказала ему: «А! вот когда ты настоящий!» – и он сразу притих.

На другое утро моя неугасаемая любовь взяла верх. Он пришел, и я бросилась ему на шею, просила простить меня, пожалеть, приласкать. Он меня обнял, заплакал, и мы решили, что теперь все будет по-новому, что мы будем помнить и беречь друг друга! Надолго ли?

Но я не могла уже оторваться от него; мне хотелось сблизиться, срастись с ним; я стала его просить поехать со мной в Овсянниково, чтобы побыть с ним. Мы поехали. Ему, видимо, не хотелось ехать со мной, но он сделал усилие, а дорогой все пытался уйти от меня пешком. Тогда я опять начинала плакать, так как мое одинокое катанье в пролетке теряло уже для меня всякий смысл.

Доехали вместе, я успокоилась, блеснул маленький луч радости быть *вместе*.

Сегодня я прочла данный мне Льв. Ник. его дневник – и опять меня обдало холодом и расстроило известие, что Лев Ник. *все* дневники свои от 1900 года отдал Черткову, якобы делать выписки, а у Черткова работает сын хитрого Сергеенко и, по всей вероятности, переписывает все целиком для будущих целей и выгод, а в дневниках Льва Ник., везде с умыслом, он выставляет меня, как и теперь, – мучительницей, с которой надо как-то *бороться* и самому *держаться*, а себя великодушным, великим, любящим, религиозным...

А мне надо подняться духом, понять, что перед смертью и вечностью так не важны интриги Черткова и мелкая работа Л. Н. унижить и убить меня.

Да, если есть Бог, Ты видишь, Господи, мою ненавидящую ложь душу и мою неумственную, а сердечную любовь к добру и многим людям!

Вечер. Опять было объяснение, и опять мучительные страдания. Нет, так невозможно, надо покончить с собой. Я спросила: «С чем во мне Лев Ник. хочет бороться?» Он говорит: «С тем, что у нас во всем с тобой разногласие: и в земельном, и в религиозном вопросе». Я говорю: «Земли не мои, и я считаю их семейными, родовыми». – «Ты можешь *свою* землю отдать». Я спрашиваю: «А почему тебя не раздражает земельная собственность и миллион-

ное состояние Черткова?» – «Ах! ах, я буду молчать, оставь меня...» Сначала крик, потом злобное молчание.

Сначала на вопрос мой, где дневники с 1900 года, Лев Ник. мне быстро ответил, что у него. Но когда я их просила показать, он замылся и сознался, что они у Черткова. Тогда я спросила опять: «Так где же дневники твои, у Черткова? Ведь может быть обыск и все пропадет? А мне они нужны как материал для моих „Записок“». – «Нет, он принял свои меры, – отвечал Л. Н., – они в каком-то банке». – «Где? в каком?» – «Зачем тебе это надо знать?» – «Как, ведь я самый тебе близкий человек, жена твоя». – «Самый близкий мне человек – Чертков, и я не знаю, где дневники. Не все ли равно?»

Правду ли говорит Лев Николаевич? Кто его знает; все делается скрытно, хитро, фальшиво, во всем заговор против меня. И давно он ведется, и не будет этому конца до смерти несчастного, опутанного дьяволом Чертковым старика.

Я, кажется, обдумала, что мне надо делать. На днях, до отъезда Льва Ник. к Черткову, он негодовал на нашу жизнь, и, когда я спросила: «Что же делать?» – он негодующим голосом кричал: «Уехать, бросить все, не жить в Ясной Поляне, не видать нищих, черкеса, лакеев за столом, просителей, посетителей – все это для меня ужасно!»

Я спросила: «Куда же теперь нам, старикам, уехать?» – «Куда хочешь: в Париж, в Ялту, в Одоев... Я, разумеется, поеду с тобой».

Слушала я, слушала всю эту гневную речь, взяла 30 рублей и ушла; хотела ехать в Одоев и там поселиться.

Была страшная жара, добежала до шоссе, задохнулась от волнения и усталости, легла возле ржи в канаву на травке.

Слышу, едет кучер в кабриолете. Села, обессиленная вернулась домой. У Льва Никол. на короткое время сделались перебои в сердце. Что тут делать? Куда деваться? Что решать? Это был первый надрез в наших отношениях.

Приехала домой. Опять тяжесть жизни. Муж сурово молчит, а тут корректуры, маляры, приказчик, гости, хозяйство... Всем надо ответить, всех удовлетворить. Голова болит, что-то огромное, разбухающее распирает голову, и что-то напухшее, сдавливающее – в сердце.

И вот сегодня вечером, обходя раз десять аллеи в саду, я решила без ссор, без разговоров нанять угол в чьей-нибудь избе и поселиться в ней, бросив все дела, всю жизнь, стать бедной старушкой в избе, где дети, и их любить. Надо попробовать.

Когда я стала говорить, что на перемену более простой жизни с Льв. Ник. я не только готова, но смотрю на нее как на радостную идиллию, только прошу указать, где именно он хотел бы жить, он сначала мне ответил: «На юге, в Крыму или на Кавказе...» Я говорю: «Хорошо, поедем, только скорей...» На это он мне начал говорить, что прежде всего нужна *доброта*.

Разумеется, он никуда не поедет, пока тут Чертков, и в Никольское, к Сереже, как обещал, не поедет. *Доброта!* А когда в 20 лет, может быть, в первый раз он мог показать свою доброту, которую я давно не чувствую, когда я умоляла его приехать, он с Чертковым сочинял телеграмму, что *удобнее* не приезжать. Я спросила: «Кто составлял и писал телеграмму?» Лев Ник. сейчас же ответил: «Кажется, я с Булгаковым, впрочем не помню».

Я спросила Булгакова, он мне сказал, что даже не знал и никакого участия в телеграмме не принимал. Пришлось сознаться, что стиль Черткова, которого Лев Ник. хотел выгородить и, к ужасу моему, – просто сказал неправду.

Пишу ночью, одна, в зале. Рассвело, птицы начали петь, и возьмется в клетках канарейки.

Неужели я не умру от тех страданий, которые я переживаю...

Сегодня Лев Ник. упрекал меня в розни с ним *во всем*. В чем? В земельном вопросе, в религиозном, да во всем... И это неправда. Земельный вопрос по Генри Джорджу я просто не понимаю; отдать же землю помимо моих детей считаю высшей несправедливостью.

Религиозный вопрос не может быть разный. Мы оба верим в Бога, в добро, в покорность воле Божьей. Мы оба ненавидим войну и смертную казнь. Мы оба любим и живем в деревне. Мы оба не любим роскоши... Одно – я не люблю Черткова, а люблю Льва Ник – а. А он не любит меня и любит своего идола.

С. А. Толстая. Ежедневник. Запись от 20 июня 1910 г. (Отрывок).

О возвращении своем Лев Ник. не упоминает. Не нужна я стала. Чертковы первенствуют; надо и мне создавать *свою* личную жизнь или свою *личную смерть*.

Т. Л. Сухотина. Открытое письмо в редакцию «Русского слова» от 28 февраля (н. ст.) 1912 г., Рим.

Много еще тяжелого и неразъясненного внес Чертков в нашу семью, о чем я не могу говорить, так как другие примешаны во всех этих делах и я во многом связана обещанием молчания. Но не могу не сказать, что всегда, с самого начала нашего знакомства с ним, Чертков старался отдалить от отца всех близких ему людей.

Л. Н. Толстой. «Тайный» дневник. Запись от 2 июля в 1908 г.

Начинаю дневник для себя – тайный.

Положение мое было бы мучительно, если бы не сознание того, что все это на пользу душе, если только положить жизнь в душе.

Если бы я слышал про себя со стороны – про человека, живущего в роскоши, с стражниками, отбивающего все, что может, у крестьян, сажающего их в острог, и исповедующего и проповедывающего христианство, и дающего пяточки, и для всех своих гнусных дел прячущегося за милой женой, – я бы не усомнился назвать его мерзавцем! А это-то самое и нужно мне, чтобы мог освободиться от славы людской и жить для души.

Исправлял Василия Морозова рассказ.

Мучительно тяжело на душе. Знаю, что это к добру душе, но тяжело.

Когда спрошу себя: что же мне нужно – уйти от всех. Куда? К Богу, умереть. Преступно желаю⁵³ смерти.

После того как я написал это – непонятно грубая, жестокая сцена из-за того, что Чертков снимал фотографии. Проходит в голову сомнение, хорошо ли я делаю, что молчу, и даже не лучше ли было бы мне уйти, скрыться, как Буланже. Не делаю этого преимущественно потому, что это для себя, для того, чтобы избавиться от отравленной со всех сторон жизни. А я верю, что это-то перенесение этой жизни и нужно мне.

Помоги, Господи, помоги, помоги!!!! —

Уйти хорошо можно только в смерть.

Л. Н. Толстой. Дневник. Запись от 4–5 июня 1910 г.

Поехал с Душаном. Ездил хорошо. Вернулся и застал черкеса, приведшего Прокофия. Ужасно стало тяжело, прямо думал уйти. И теперь, нынче 5-го утром, не считаю этого невозможным. <...> Потом отправился и Соне сказал, что всё хорошо. И не имел против нее ни малейшего недоброго чувства. Помоги, Господи, и благодарю, Господи, не за то, что Ты мне помог,

⁵³ В копии написано «желать».

а за то, что я по Твоей воле такой, что могу простить, могу любить, могу радоваться этим.

Л. Н. Толстой. Дневник. Запись от 23 июня 1910 г.

Жив. Теперь семь часов утра. Вчера только что лег, еще не засыпал, телеграмма: «Умоляю приехать 23». Поеду и рад случаю делать свое дело. Помоги Бог.

[*Ясная Поляна.*] Нашел хуже, чем ожидал: истерика и раздражение. Нельзя описать. Держался не очень дурно, но и не хорошо, не мягко».

Д. П. Маковицкий. Дневниковая запись.

Софья Андреевна то спокойная, то начинает пилить Л. Н. Сегодня – за дневники последних десяти лет, за то, что их взял Чертков. Второе – что в новой тетради дневника, которую Л. Н. начал писать в Отрадном, нашла слова «С С. борюсь любовью» и начала придирается к слову «борюсь», называть Черткова разлучником и настаивать на том, чтобы Л. Н. с ней уехал. Еще придиралась к словам Л. Н., которые он ей сказал месяц тому назад, тогда, когда она ушла из дому и экипаж догнал ее на Козловке. Л. Н. тогда просил ее отпустить черкеса, землю отдать в аренду крестьянам, а Софья Андреевна хотела отнять и часть той земли, которую они третий год арендуют. Л. Н. сказал, что ему тяжело жить в обстановке Ясной Поляны (черкес, хозяйство, роскошь, просители...) и готов уехать на Кавказ, в Крым, Париж, Одоев. Софья Андреевна теперь настаивает, чтоб они оба ушли из дому и от хозяйства и вдвоем наняли угол в избе в Рудакове или Одоеве. Л. Н. принимает эти ее слова и настояния за признаки сумасшествия и серьезно опасается за нее.

А. Л. Толстая. Из воспоминаний.

Трудно описать, в каком ужасном состоянии нервного расстройства мы застали мою мать. Это был бред душевнобольной женщины. Упреки, крики, рыдания, недостойные намеки, угрозы убить себя. Никто не спал. Я хотела войти к отцу в спальню, чтобы как-то оградить его. «Уйди», – тихо сказал он мне.

30 июня

28-го мы поехали в Никольское, к сыну Сереже на день его рождения: Лев Ник., Саша, я, Душан Петрович и Н. Н. Ге. Встали все рано, и я пошла сказать, что если Лев Никол. себя плохо чувствует, то чтоб не ехал, а я поеду с Н. Н. Ге вдвоем. Он сказал, что подумает, а раньше дал мне слово, что поедет со мной непременно. Совесть ему, верно, стало, и он поехал.

Я чувствовала себя очень еще больной и накануне вечером решила не ехать, сидела, следила за игрой в шахматы Льва Ник. с Гольденвейзером. И в это время вошел Булгаков и сказал, что Чертков, бывший в ссылке, приехал с матерью в Телятинки. Я вскочила как ужаленная, кровь прилила к голове и сердцу, и я решила ехать к Сереже непременно. Быстро уложилась и потом не спала всю ночь. Утром Лев Ник. сказал мне, что пойдет вперед пешком, а чтоб я его догоняла в экипаже. Но приехал Чертков, Лев Ник. тотчас же потерял голову и вместо Засеки пошел по направлению к Ясенкам. Спихватился, испугался и быстро пошел к конюшне, на гору, а оттуда ехал и догонял меня с Чертковым, на его запряженной лошади, но слез на некотором расстоянии – подошел к моей пролетке, и мы поехали вместе.

На станции Бастыево, куда должны были за нами выслать лошадей не оказалось. Саша с Ге слезла в Черни и на тройке уехала в Никольское, где оказалось, что никакой телеграммы от нас не было получено. Ее просто задержали и не послали из Бастыева. Давно я не испытывала такой тоски, как эти три часа ожидания на грязной, тесной, неприветливой станции.

Лев Ник. опять ушел вперед и взял не то направление, и опять пришлось его искать уже в приехавшей из Никольского коляске. Хорошо, что я взяла с собой и овсянку сваренную, и кофе с молоком и могла накормить Льва Ник – а. О себе я никогда не думаю и ничего не ела, только чаю плохого выпила стакан и за весь день съела одно яйцо.

В Никольском была дочь Таня, семья Орловых, Гаяринов, Таня Берс и главное – Варечка Нагорнова. Делали красивые прогулки, но мне все было тяжело и трудно. Разговоры с Таней только еще более расстроили меня: в них было с ее стороны столько жестокого осуждения и столько безжалостности и невозможно исполнимых требований, что я еще больше расстроилась. Зато Варечка так сердечно, умно и ласково отнеслась к моим страданиям.

Последняя прогулка очень меня утомила, но в общем я рада была, что мы съездили. Два дня близко-близко провела с моим Левочкой, ехали на станцию так, что он держал меня под руку, он сам этого захотел, а когда ехали вчера ночью со станции Засека, он трогательно беспокоился, что мне холодно, мне ничего теплого не прислали, я была в одном платье, и он пошел к коляске спросить, нет ли чего теплого. Ге принес и накинул на меня свой плащ.

На Засеке поезд остановили на мосту, где между перилами моста и вагонами было так узко, что едва можно было пройти. Если б поезд тронулся, могли бы вагоны и нас стащить.

Сегодня с утра я очень тревожилась о здоровье Льва Ник – а. У него все сонливость, отсутствие аппетита и обычное желчное состояние. Пульс больше 80-ти. Он долго днем лежал и лежа принимал Суткового, Гольденвейзера и Черткова. Слушала я разговор Л. Н. с Сутковым, и он говорил между прочим Сутковому, что: «Я сделал эту ошибку и женился...» Ошибку?

«Ошибкой» он считает будто оттого, что женатая жизнь мешает духовной жизни.

К вечеру, позднее, Л. Н. встал, играл в шахматы с Гольденвейзером, я поправляла корректуру «Власти тьмы». Было хорошо, тихо, спокойно и без Черткова.

Л. Н. Толстой в записи Д. П. Маковицкого от 2 мая 1910 г.

«Вероятно, придет Чертков... <...> Нельзя придумать лучшего друга, помощника: искренно одних взглядов, преданный, способный и огромные

средства. А другой – ведь тоже придумай этого человека, заботящийся о внешних удобствах, – Софья Андреевна».

А. Л. Толстая. Из воспоминаний.

На второй день после нашего приезда нервное возбуждение матери продолжалось. С криком «Кто там? кто там?» она бросилась из зала вниз, как будто кто-то гнался за ней. Я продолжала бы работать, если бы не отец. «Куда она, куда?» – закричал он с отчаянием в голосе. Мы с Душаном побежали за ней и нашли ее лежащей на каменном полу в кладовой. Она водила по губам склянку с опиумом. «Один глоточек, только один глоток», – приговаривала она...

Мать требовала, чтобы отец отдал ей все дневники, чтобы он перестал видаться с Чертковым. Запись отца, прочитанная ею в дневнике: «Соня опять возбуждена и истерика, решил бороться с нею любовью», вызвала с ее стороны новые упреки...

Я изнемогала от собственного бессилия, от возмущения и раздражения на мать, разъедающих душу, от бесконечной жалости к отцу.

Мать решила увезти отца к брату Сергею в Никольское – подальше от Черткова. Отец неохотно согласился. Приехала туда и Таня. Опять начались семейные совещания, советы... но по существу ничего не было решено. На мою мольбу, чтобы или разделили на время родителей, или чтобы кто-нибудь из старших поселился в Ясной Поляне, не обратили внимания.

Как только мы вернулись домой (из Никольского от Сергея Львовича. – *Сост.*), возобновилось истерическое состояние матери, и я с ужасом наблюдала, как с каждым днем отец слабел... Даже святой Душан возмущался: «С. А. не думает о том, что Л. Н. едва держится, сердце слабеет...»

В. Ф. Булгаков. Дневниковая запись от 28 июня 1910 г.

Во время утренней прогулки Лев Николаевич виделся в парке с В. Г. Чертковым, временно, вследствие охлаждения отношений с Софьей Андреевной, воздерживающимся от посещения дома, и беседовал с ним. Ясная Поляна превратилась в какую-то крепость, с таинственными свиданиями, переговорами и проч. <...> В голове – туман от всех этих нелепых историй и обида за Льва Николаевича.

1 июля

Вечером. Весь день просидела за корректурой нового издания («Плоды просвещения») и очень дурно себя чувствовала во всех отношениях. Письмо мое к Черткову Льву Николаевичу не понравилось. Что делать! Надо всегда писать только *правду*, не принимая ничего в соображение, и я послала все-таки это письмо. Вечером при закрытых дверях собрались: Лев Ник., Саша и Чертков, и начался какой-то таинственный разговор, из которого я мало расслышала, но упоминалось часто мое имя. Саша ходила кругом осматривать, не слушаю ли я их, и, увидав меня, побежала сказать, что я слышала, вероятно, с балкона их раз- или заговор. И опять защемило сердце, стало тяжело и больно невыносимо. Я откровенно пошла тогда в комнату, где все сидели, и, поздоровавшись с Чертковым, сказала: «Опять заговор против меня?» Все были смущены, и Л. Н. с Чертковым наперерыв начали говорить что-то бессвязное, неясное о дневниках, и так никто мне не сказал, о чем говорили, а Саша просто скорей ушла.

Началось тяжелое объяснение с Чертковым, Лев Никол. ушел к приехавшему сыну Мише. Я повторила, что написала в выше вставленном письме, и просила его сказать мне: *сколько* у него тетрадей дневников, и *где* они, и *когда* он их взял? При таких вопросах Чертков приходил в ярость и говорил, что раз Лев Никол. доверился ему, то ни Льву Ник – чу и никому он не дает отчета. А что Лев Ник. дал ему дневники, чтоб из них будто бы вычеркнуть все интимное, все дурное.

Минутами Чертков смирялся и предлагал мне с ним заодно любить, беречь Льва Николаевича и жить его жизнью и интересами. Точно я без него не делала этого в течение почти всей моей жизни – 48 лет. И тогда между нами не было никого, мы жили одной жизнью. «Two is company, three is not»⁵⁴. И вот этот третий и разбил нашу жизнь. Чертков заявил тогда же, что он *духовный духовник* (?) Льва Никол. и что я должна со временем помириться с этим.

Сквозь весь наш разговор прорывались у Черткова грубые слова и мысли. Например, он кричал: «Вы боитесь, что я вас буду обличать посредством дневников. Если б я хотел, я мог бы сколько угодно *напакостить* (хорошо выражение якобы порядочного человека!) вам и вашей семье. У меня довольно связей и возможности это сделать, но если я этого не делал, то только из любви к Льву Николаевичу». Как доказательство того, что это возможно, Чертков привел пример Карлейля, у которого был друг, избличивший жену Карлейля и выставивший ее в самом дурном свете.

Как еще низменно мыслит Чертков! Какое мне дело, что после моей смерти какой-нибудь глупый офицер в отставке будет меня обличать перед какими-нибудь недоброжелательными господами?! Мое дело жизни и душа моя перед Богом; а жизнь моя земная прошла в такой самоотверженной, страстной любви к Льву Николаевичу, что какому-нибудь Черткову уже не стереть этого прошлого, несомненно пережитого почти полвека моей любви к мужу.

Кричал Чертков и о том, что, если б у него была такая жена, как я, он застрелился бы или бежал в Америку. Потом, сходя с сыном Левою с лестницы, Чертков со злобой сказал про меня: «Не понимаю такой женщины, которая *всю жизнь* занимается убийством своего мужа».

Медленно же это убийство, если муж мой прожил уже 82 года. И это он внушил Льву Николаевичу, и потому мы несчастны на старости лет.

Что же теперь делать? Увы! Надо *притворяться*, чтобы не совсем был отнят у меня Лев Николаевич. Надо этот месяц быть доброй и ласковой с Чертковым и его семьей, хотя, после

⁵⁴ Двое – это компания, трое – уже нет (англ.).

моего мнения о нем и его обо мне, мне это будет невыносимо трудно. Надо чаще там бывать и ничем не расстраивать Льва Николаевича, признав его подчиненным, и обезволенным, и обезличенным Чертковым. Свое долготее влияние и любовь я утратила навсегда, если Господь не оглянется на меня. И как жаль Льва Николаевича! Он несчастлив под гнетом деспота Чертова и был счастлив в общении со мной.

По поводу похищенных дневников я добилась от Чертова записки, что он обязуется их отдать Л. Н. после его работ, которые поспешит окончить. А Лев Николаевич словесно обещал *мне* их передать. Сначала он тоже хотел мне это написать, но испугался и тотчас же отрекся от своего обещания. «Какие же расписки *жене*, это даже смешно, – сказал он. – Обещал и отдам».

Но я знаю, что все эти записки и обещания один обман (так и вышло с Льв. Ник – м, он дневников мне не отдал и положил пока в банк в Туле)⁵⁵. Чертов отлично знает, что Льву Николаевичу уже не долго жить, и будет все отлынивать и тянуть свою вымышленную работу в дневниках и не отдаст их никому.

Вот правдивая история моего горя в последние годы моей жизни. Буду теперь писать дневник ежедневно.

Вечером ездила на станцию Засека подписать корректурные листы, что забыла сделать вчера вечером.

Приходил Николаев, приезжал на короткое время сын Миша, как всегда непонятный, спокойный и приятный. Я ему рассказала все наши тяжелые переживания, но он был так спокойно ко всему равнодушен. Тяжелы отношения ко мне Саши. Она дочь-предательница. Если бы ей кто предложил бы, как будто для спокойствия отца, тихонько увезти его от меня, она бы сейчас же это сделала. Сегодня она поразила меня таинственным перешептываньем с отцом и Чертковым и беспрестанными оглядками и выбеганием из комнаты, чтоб узнать, не слышу ли я их разговоров обо мне. Да, окружили меня морально-непроницаемой стеной; сиди и томись в этом одиноком заточении и принимай это как наказание *за свои грехи*, как тяжелый крест.

А. Л. Толстая. Из воспоминаний о событиях 1909 г.

Как трудно бывает поверить в душевную болезнь близкого человека, особенно если создалась многолетняя привычка к признанию авторитета и власти этого человека.

Если бы я поняла тогда, что моя мать больна, все отношение мое к ней было бы другим. И было бы легче. Но люди много опытнее и умнее меня не могли этого понять...

С каждым днем моя мать становилась все нервнее. Все раздражало ее, вызывало слезы, истерику, вспышки гнева. Причины были разнообразные и необъяснимые. Интересы ее продолжали скользить по поверхности; то она засушивала цветы, то рисовала, то, неизвестно почему, начинала мыть, заклеивать на зиму оконные рамы, то писала свои воспоминания. Когда она входила в комнату, где разговаривали, все внутренне сжимались, ожидая неприятного замечания. Всё болезненно ее нервировало. Свойство ее, над которым еще в молодости подтрунивала ее сестра Таня, – жалость к себе и убеждение, что она несчастная жертва, – обострилось до предела.

Д. П. Маковицкий. Дневниковая запись.

Чертов с Софьей Андреевной уединились в кабинете Л. Н. В это время Л. Н. сидел в зале с нами. Было слышно: спорили. Когда Софья

⁵⁵ Приписано позднее.

Андреевна заговорила, что дневники ей нужны для успокоения, что она больна, Чертков ответил, что она симулировала и симулирует болезнь и что многие симулируют, теряя до такой степени меру, что от симуляции и умирают. Чертков сказал Софье Андреевне, что она мучает Л. Н. и что, если бы у него была такая жена, он застрелился бы или уехал в Америку. Потом Софья Андреевна перешла на ласковый тон, они помирились и разошлись, казалось бы, в дружбе. Чертков поцеловал руку Софье Андреевне и простился, уехал раньше, чем ожидали. Всем нам было тяжело от фальши, лжи. Софья Андреевна, взволнованная, села к круглому столу, взялась за какую-то работу и, обращаясь к Михаилу Львовичу (он приехал в этот вечер), громила Черткова, рассказывала, какой он человек: сказал ей, что мог бы напасть на нее (Софья Андреевна сказала: семье), если бы ее обличил: это (на свою мельницу) Софья Андреевна вынесла из всего разговора; в этом освещении подавала его Михаилу Львовичу, добавив, что надо искать в ней то, что есть доброго, а не злое.

В. Ф. Булгаков. Дневниковая запись.

История тянется. Между Софьей Андреевной и В. Г. Чертковым возник спор о том, у кого должны храниться дневники Льва Николаевича (кажется, начиная с 1900 года), находящиеся сейчас у Черткова, которому они когда-то переданы были Львом Николаевичем. Чертков и его близкие уверяют, что если передать дневники на хранение Софье Андреевне, то она может вымарать в них все те места, которые покажутся ей неприятными. Лев Николаевич также против передачи дневников. Настроение беспокойное.

Лев Николаевич сегодня слаб и вял. Верхом не ездил. Позвал меня, чтобы поговорить о письмах. Был в зале, где полулежал на кушетке.

Передавал, что продолжает писать статью о самоубийствах и что для обрисовки безумия современной жизни ему была полезна только что полученная им книга француза Поллака.

– Научная... Здесь и теория эволюции: все эволюирует. Значит, не нужно никакого усилия? – говорил Лев Николаевич.

2 июля

Ничего не могла делать, так расстроили меня разговоры с Сашей. Сколько злобы, отчуждения, несправедливости! Все больше и больше отчуждения между нами. Как это грустно! Мудрая и беспристрастная старушка М. А. Шмидт помогла мне своим разговором со мной. Она советовала мне стать морально выше всяких упреков, и придинок, и брани Черткова; говорила, что приставанья моих дочерей, чтоб я *куда-нибудь* переезжала жить с Львом Николаевичем, потому что ему будто бы в Ясной Поляне стало невыносимо, что это пустяки; что посетители и просители везде его найдут и легче не будет, а ломать жизнь на старости лет просто нелепо.

Ездил к Гольденвейзерам. Александр Борисович уехал в Москву; жена же его, брат и его жена были очень приятны. В это же время Лев Ник. приезжал верхом к Чертковым и, по-видимому, очень устал от жары.

После обеда пришло много народу. К обеду приехал сын Лева, оживленный и радостный. Ему приятно быть опять в России, в Ясной Поляне и видеть нас.

На террасе происходили разговоры о добролюбовцах в Самарской губернии. Присутствовали: Сутковой, его сестра, Картушин, М. А. Шмидт, Лев Никол., И. И. Горбунов, Лева и я.

Сутковой рассказывал, что эти добролюбовцы соберутся, сидят, молчат и между ними таинственно должна происходить духовная связь и единение. Лев Никол. ему возражал, но, к сожалению, не помню и боюсь ошибиться в неточности выраженья его мысли.

Приезжала мать Черткова. Она очень красивая, возбужденная и не совсем нормальная, очень уже пожилая женщина. Редстокистка, тип сектантки, верит в искупление, верит в вселение в нее Христа и религию производит в какой-то пафос. Но, бедная *мать*, у нее умерло два сына, и она подробно рассказывала о смерти меньшого, восьмилетнего Миши. Прошло с тех пор 35 лет, и рана этой утраты свежа, и сердце у нее измучено горем, и с смертью ее меньшого Миши прекратились навеки все радости жизни. Слава Богу, что она нашла утешение в религии.

Лев Ник. брал ванну, желудок у него расстроился, но в общем состояние его здоровья недурно, слава Богу!

А. Л. Толстая. Из воспоминаний.

Только старушка Шмидт считала мать больной, несчастной и искренно, без всякого усилия, жалела ее. Старушка морально поддерживала отца, она считала, что ему послано испытание, что он несет его с христианским смирением и что так и нужно. <...>

Иногда отец заходил ко мне. Ложился на диван, я продолжала печатать, и мы оба молчали. «Мы без слов все понимаем, – говорил он, – если будешь говорить, лишнее скажешь».

Приехал брат Лев, но, к сожалению, мира не внес.

3 июля

Еще я не оделась утром, как узнала о пожаре в Танином Овсянникове. Сгорел дом, где жили Горбуновы, сгорела и избушка М. А. Шмидт. Она эту ночь ночевала у нас, и без нее подожгли ее избу. У нее сгорело все, но больше всего ее огорчало то, что сгорел ее сундук с рукописями. Все, что когда-либо было написано Льв. Ник., все было у нее переписано и хранилось в сундуке вместе с 30 письмами Льва Ник. к ней.

Не могу без боли сердца вспомнить, как она влетела ко мне, бросилась мне на шею и начала отчаянно рыдать. Как было ее утешить? Можно было только ей сочувствовать всей душой. И целый день я вспоминаю с грустью ее прежние слова: «У нас, душечка, райская жизнь в Овсянникове». Свою избушку она называла «дворцом». Сокрушалась очень и о своей старой безногой шавке, сгоревшей под печкой.

Завтра Саша едет в Тулу ей все купить, что необходимо для непосредственной нужды. Мы ее и оденем, и обставим как можем. Но *где* ей жить – не знаю. Она не хочет жить у нас; привыкла к независимости, к своим коровам, собакам, огороду, клубнике.

Лев Николаевич ездил с Левого верхом в сгоревшее Овсянниково и все повторял, что «Марья Александровна хороша», то есть бодро выносит свое несчастье. Это все хорошо, но *сейчас* надо во что одеться, что есть и пить, а ничего нет.

Спасибо, что Горбуновы вытащили все имущество и не бросят пока без помощи старушку.

Страшная жара, медленно убирают сено, что немного досадно. Здоровье получше, ходила купаться. Вечером приехал Гольденвейзер и Чертков. Лев Ник. играл с Гольденвейзером в шахматы, Чертков сидел надутый и неприятный. Лева очень приятен, участлив и бодрит меня, а все-таки что-то грустно!

Поправила много корректур и отсылаю.

А. Л. Толстая. Из воспоминаний.

Один раз, когда старушка Шмидт была в Ясной Поляне, приехали из Овсянникова и сообщили, что сгорела ее избушка и дом, где летом жили Горбуновы. Погибло все: за многие, многие годы переписанные ею рукописи отца, его портреты, собственноручные письма отца к ней, сгорела и криволапая собачка Шавочка, которую когда-то, в лютый мороз, с отмороженными ногами, подобрала старушка Шмидт.

Марья Александровна горько плакала, но несчастье свое несла как испытание, Богом ей посланное, и ни разу не позволила себе упрекнуть полусумасшедшего молодого человека, заподозренного в поджоге. Таня немедленно распорядилась, чтобы старушке Шмидт была выстроена новая избушка, купили ей, как она выражалась, «новое приданое». Но заменить ее потерю никто не мог. «Боже мой, Боже мой! – шептала она. – Шавочка моя... Письма дорогого Льва Николаевича... Рукописи...»

В. Ф. Булгаков. Дневниковая запись от 5 июля 1910 г.

Рассказывал Лев Николаевич по дороге о пожаре у его друзей, М. А. Шмидт и Горбуновых, в Овсянникове, уничтожившем их избы, все имущество и ценные бумаги и рукописи. Есть предположение, что пожар был следствием поджога: подозревается в поджоге приехавший издалека и остановившийся у Шмидт некто Репин, бывший военный и затем устроитель земледельческой общины, совершенно ненормальный человек, помешавшийся на том, что он Христос. М. А. Шмидт обвиняли в том,

что она в не принадлежащий ей дом (он составлял, так же как и изба Горбуновых, собственность Татьяны Львовны) пустила сумасшедшего. Но Лев Николаевич говорил, что иначе она не могла поступить: ее долг был принять человека, кто бы он ни был, раз он искал приюта. Да и к самому Репину Лев Николаевич относился снисходительно.

– Он сделал только то, – говорил Лев Николаевич, – что мы все думаем: уничтожил внешнее, материальное, что не имеет важности... Я вообще не думаю, чтобы человек мог перестать быть человеком. И у ненормального та же душа, но она только уродливо проявляется.

Жалел только Лев Николаевич жену Репина, которая должна была ухаживать за больным мужем.

4 июля

Описывала поездку нашу в Москву и к Чертковым, читала английскую биографию Льва Ник – а, составленную Моодом. Нехорошо; слишком много всюду он выставляет себя, пропагандируя свои переводы (об искусстве) и другие.

Лева сегодня говорил, что он вчера случайно подстерег на лице Льва Николаевича такое прекрасное выражение человека не от мира сего, что он был поражен и желал бы его уловить для скульптуры. А я, несчастная близорукая, никогда не могу своими слепыми глазами улавливать выражения лиц.

Да, Лев Никол. наполовину ушел от нас, мирских, низменных людей, и надо это помнить ежеминутно. Как я желала бы приблизиться к нему, постареть, угомонить мою страстную, мятущуюся душу и вместе с ним понять тщету всего земного!

Где-то на дне души я чувствую это духовное настроение; я познала путь к нему, когда умер Ванечка, и я буду стараться найти его еще при моей жизни, а главное, при жизни Левочки, моего мужа. Трудно удержать это настроение, когда везешь тяжесть мирских забот, хозяйства, изданий, прислуги, отношений с людьми, их злобу, отношений с детьми и когда в моих руках отвратительное орудие, деньги – *Деньги!*

Саша с Варварой Михайловной накупили в Туле все нужное для Марии Александровны. Я уже начала вечером работать на нее. У нее все сгорело решительно, и надо ей все завести и одеть ее. И вот еще новая забота!

Чертков вечером привозил стереоскопические снимки, сделанные в Мещерском, где гостил у него Лев Ник. И Лев Ник., как ребенок, на них радовался, узнавая везде себя. Гольденвейзер играл, Лева нервно расплакался. Свежо, 12 градусов, и северный ветер.

В. Ф. Булгаков. Дневниковые записи от 14 мая и 5 июля 1910 г.

Из всех фотографов В. Г. Чертков – единственный не неприятный Льву Николаевичу. И это прежде всего хотя бы потому, что Чертков обычно совсем не просит Льва Николаевича позировать, а снимает его со стороны, часто даже совершенно для него незаметно. Кроме того, Владимир Григорьевич и лично приятен Льву Николаевичу, и, наконец, как мне передавали, Лев Николаевич считает, что он хоть чем-нибудь должен отплатить Черткову за все, что тот для него делает: распространение сочинений и проч. Чертков, со своей стороны, убежден и даже пытался доказывать это самому Льву Николаевичу, что он, Чертков, должен фотографировать Толстого, так как впоследствии потомству будет приятно видеть его облик.

Говорят, однажды Лев Николаевич возразил на это своему другу:

– Вот, Владимир Григорьевич, мы с вами во всем согласны, но в этом я с вами никогда не соглашусь!.. <...>

Вчера (4 июля. – *Сост.*) Лев Николаевич смотрел фотографии, снятые Чертковым в Кочетах и в Мещерском. Они очень ему понравились, особенно стереоскопические снимки, которые он и рассматривал в стереоскоп.

– А как хороша та фотография, где мы с вами! – говорил он. – Это даже не похоже на портреты: видно, что заняты делом. Я, помню, просил устроить, чтобы мне можно было просматривать письма в саду... Чертков все говорит о цветной фотографии, но я что-то не верю, чтобы это было возможно...

В Телятинках Лев Николаевич своим приездом, конечно, доставил всем большую радость. Да и он, я думаю, рад был видеть и Владимира Григорьевича, и остальных друзей. Было так приятно видеть его в этой обстановке дружелюбного отношения и уважения к нему.

Я думаю, его радовала теперь раньше надоедавшая ему фигурка мистера Тапселя в серой шляпе, по своему обыкновению забегавшего и щелкавшего фотографическим аппаратом со всех сторон. Лев Николаевич даже нарочно проехался лишний раз по двору верхом в сопровождении своего внука Илюшка, чтобы дать возможность мистеру Тапселю сделать снимок...

5 июля

Жизни нет. Застыло как лед сердце Льва Николаевича, забрал его в руки Чертков. Утром Лев Ник. был у него, вечером Чертков приехал к нам. Лев Ник. сидел на низкой кушетке, и Чертков подсел близко к нему, а меня всю переворачивало от досады и ревности.

Затем был затеян разговор о сумасшествии и самоубийстве. Я три раза уходила, но мне хотелось быть со всеми и пить чай, а как только я подходила, Лев Никол., повернувшись ко мне спиной и лицом к своему идолу, начинал опять разговор о самоубийстве и безумии, хладнокровно, со всех сторон обсуждая его и с особенным старанием и точностью анализируя это состояние с точки зрения моего теперешнего страдания. Вечером он цинично объявил, что он все забыл, забыл свои сочинения. Я спросила: «И прежнюю жизнь, и прежние отношения с близкими людьми? Стало быть, ты живешь только настоящей минутой?» – «Ну да, только настоящим», – ответил Лев Ник. Это производит ужасное впечатление! Пожалуй, что трогательная смерть физическая с прежней нашей любовью до конца наших дней была бы лучше теперешнего несчастья.

В доме что-то нависло, какой-то тяжелый гнет, который и убьет, и задавит меня.

Брала на себя успокоиться, быть в хороших отношениях с Чертковыми. Но и это не помогло; все тот же лед в отношениях Льва Николаевича, все то же пристрастие к этому идиоту.

Ездил сегодня отдать визит его матери, видела внуков. Старушка безвредная; поразила меня своими огромными ушами и количеством съеденной ею при мне всякой еды: варенца, ягод, хлеба и проч.

Кроила Марье Александровне рубашки, шила на машине юбку и рубила платки. Заболела голова.

Был Булыгин, Н. Н. Ге, Гольденвейзер. Ох, как тяжело, как я больна, как я молю Бога о смерти. Неужели это ничем не разрешится и Черткова оставят жить в Телятинках?

Горе мне! Хотелось бы прочесть дневник Л. Н. Но теперь все у него заперто или отдано Черткову.

А всю жизнь у нас не было ничего друг от друга скрытого. Мы читали друг другу все письма, все дневники, все, что писал Лев Николаевич. Понять моих страданий никто не сможет, они так остры и мучительны, что только смерть может их прекратить.

Д. П. Маковицкий. Дневниковая запись от 1 июля.

Софья Андреевна теперь просматривает (ревирует) бумаги и Л. Н., и барышен, и в чертковских ящиках в моей комнате (ночью, когда я спал в гостиной, дней пять тому назад). Жаловалась, что Л. Н. все спрятал, замкнул на ключ, когда уезжал в Никольское, или что он все с собой взял. Это правда, что Л. Н. все прячет от Софьи Андреевны. Когда ездили в Никольское, дневник мне отдал. В Кочеты брал с собой деньги, 300 рублей, которые у него есть. Когда уходит гулять или кататься верхом, рукописи, письма свои и некоторые письма к нему прячет или берет с собой.

В. Ф. Булгаков. Дневниковая запись.

Вечером в яснополянском зале собралось большое общество: Лев Николаевич, Софья Андреевна, Лев Львович, Н. Н. Ге, М. В. Булыгин, А. Б. Гольденвейзер и, позже, В. Г. Чертков. Говорили о том же, о чем заговаривал Лев Николаевич со мной по дороге в Телятинки: о брошюре ученого студента, о пожаре у М. А. Шмидт и о Репине. В связи с вопросом о безумии последнего Лев Николаевич говорил, что он прочел обстоятельно

две трети поднесенной ему врачами больницы в Мещерском большой книги проф. Корсакова о душевных болезнях и при этом часто при чтении не мог удержаться от смеха, – так много в книге несообразностей.

– Представьте только, – говорил Лев Николаевич, – есть восемнадцать разных классификаций душевных болезней, и все они отвергают одна другую. А в каждой классификации свои отделы и разряды, которые тоже не сходятся... Или он ставит вопрос: что такое «я»? И отвечает, что есть ощущения, из ощущений складываются представления, из представлений – умозаключения и эти умозаключения составляют «я». Ну а ощущения кто же испытывает? Ведь, должно быть, «я», которое воспринимает их?.. Полная несообразность! И так почти всё.

Затем Лев Николаевич дал очень интересное определение состояния безумия. Он говорил:

– Я не согласен с учеными в определении того, что такое душевная болезнь, безумие. По-моему, безумие – это невосприимчивость к чужим мыслям: безумный самоуверенно держится только своего, только того, что засело ему в голову. Моего он не поймет. Есть два рода людей. Один человек отличается восприимчивостью, чуткостью к чужим мыслям. Он находится в общении со всеми мудрецами мира – и древними, и теми, которые теперь живут. Он отовсюду собирает впечатления: и от них, и из детства, и из того, что няня говорила... А другой человек знает только то, что его, что раз пришло ему на ум. Вот как Михаил Васильевич (Булыгин. – В. Б.) рассказывал о каком-то чудаке, который был уверен, что для того, чтобы освободить душу в человеке, надо отрубить ему голову: тогда душа выйдет через два отверстия – из головы и из сердца... Но это два крайние типа, и вот между ними идут всевозможные градации.

6 июля

Не спала всю ночь. Все видела перед глазами ненавистного Черткова, близко, рядом сидящего возле Льва Н – а.

Утром пошла одна купаться и все молилась дорогой. Я отмолю это наваждение, так или иначе. А если нет, то, ходя ежедневно купаться, я воспитаю в себе мысль о самоубийстве и утоплюсь в своей милой Воронке. Еще сегодня вспоминала я, как давно-давно Лев Ник. пришел в купальню, где я купалась одна. Все это забыто, и все это давно и не нужно; нужна тихая, ласковая дружба, участие, сердечное общение...

Когда я вернулась, Лев Ник. поговорил со мной добро и ласково, и я сразу успокоилась и повеселела. Он уехал верхом с Душаном Петровичем, не знаю куда.

Лева (сын) добро и трогательно относится ко мне; пришел на речку меня проведать, в каком я состоянии. А я взяла на себя успокоиться и как можно меньше видеть Черткова.

Ездил к Звегинцевой, она мне была рада, болтали по-женски, но сошлись в одном несомненно, это в нашем мнении и отношении к Черткову.

Опоздала к обеду; Лев Ник. не хотел было обедать, но потом я его позвала хоть посидеть с нами, и он с удовольствием съел весь обед, составленный для его желудка особенно старательно. Суп-пюре, рис, яйцо, черника на хлебе, моченном в миндальном молоке.

Вечером шила юбку Марье Александровне, приехал Чертков, пришли Сутковой и Николаев, потом и Гольденвейзер, сыгравший сонату Бетховена, ор. 90, рапсодию Брамса и чудесную балладу Шопена.

Потом Лев Ник. разговаривал с Сутковым о секте добролюбовцев в Самарской губ. и перешли к обсуждению религии вообще. Лев Ник. говорил, что нужно прежде всего познать в себе Бога, а потом не искать форм и искусственных осложнений вроде чудес, причастия, искусственного молчания для мнимого общения с мистическим миром, – а нужно устранять все лишнее, все, что мешает общению с Богом. И для того чтоб этого достигнуть, нужно *усилие*; и об этом Лев Ник. написал книжечку, которой очень доволен и которую, сегодня прокорректировав, он послал Горбунову для печатанья.

Сегодня я меньше волнуюсь и как будто овладела собой, хотя не могу простить Черткову его слово: *«напакостить»*. Странно! Сколько праздных разговоров и как немногие понимают, что важно в жизни.

Помню, когда я во время моей операции провалилась куда-то в бездну страданий, усыпления эфиром и близости смерти, – перед моими духовными глазами промелькнули с страшной быстротой бесчисленные картины земной, житейской суеты, особенно городской. Как ненужны, странны мне показались особенно города: все театры, трамваи, магазины, фабрики – все ни к чему, все вздор перед предстоящей смертью. Куда? Зачем все это стремление и суета? – невольно думалось мне. «Что же важно? Что нужно в жизни?..» И ответ представился мне ясный и несомненный: «Если уж нам суждено жить на земле по воле Бога, то лучшее и несомненно хорошее дело есть то, что *мы, люди, должны помогать друг другу жить*. В какой бы форме ни проявлялась обоюдная помощь – вылечить, накормить, напоить, утешить, – все равно, лишь бы помочь, облегчить друг другу житейские скорби».

И вот если б Лев Ник. тогда, вместо всех речей, на мой призыв: *«Умоляю приехать»* — приехал бы, а не откладывал, он *помог* бы мне жить, помог бы в моих страданиях, и это было бы дороже всех его холодных проповедей. Так и всегда во всем *мы должны помогать друг другу прожить жизнь на земле*. Это сходится и с христианством.

Л. Н. Толстой. Дневник.

Встал рано. Все нездоровится. Простился с Марьей Александровной. Соня ходила купаться. Я говорил с ней – недурно. Не мог заниматься – слаб.

Соня ездила к Звегинцевой. Жалко. Вечером Сутковой. Хороший разговор с ним. Лева больше чем чужд. Держусь. Записывать нечего. Ложусь, 12 [часов].

7 июля

Утро. Дождь, ветер, сыро. Поправляла корректуру «Плодов просвещения», дошла Марье Александровне юбку. Взяла из дивана Льва Никол. корректуры «Воскресенья», пока Чертков еще не пронюхал, где они, и не взял их. Несмотря на погоду, Лев Ник. поехал к своему идолу. Думала сегодня, что хотя последние дневники Льва Ник. очень интересны, но они все *сочинялись* для Черткова и тех, кому угодно будет г. Черткову их предоставить для чтения! И теперь Лев Никол. никогда в своих дневниках *не смеет* сказать обо мне слова любви, это не понравилось бы Черткову, а дневники поступают к нему. В моих же руках все самое драгоценное по искренности, по силе мысли и чувств.

Очень плохо я соблюла рукописи Льва Ник – а. Но он мне их раньше никогда не давал, держал у себя, в ящиках своего дивана, и не позволял прикасаться. А когда я решила их убрать в музей, мы в Москве перестали жить, и я только могла *убрать*, а не *разобрать* их. Да и жили-то когда в Москве, я была страшно занята многочисленной семьей и делами, которые просто из-за хлеба насущного нельзя было бросить.

Лева тоже вчера рассорился с этим грубым, неотесанным идиотом Чертковым.

Льет дождь, холодно, а Лев Никол. поехал-таки верхом к Черткову, и я в отчаянии ждала его на крыльце, тревожилась и проклинала соседство с Чертковым...

Вечер. Нет, Льва Ник – а еще у меня не отняли, слава Богу! Все мои страдания, вся энергия моей горячей любви к нему проломила тот лед, который был между нами эти дни. Перед нашей связью сердечной ничто не может устоять; мы связаны долгой жизнью и прочной любовью. Я вошла к нему, когда он ложился спать, и сказала ему: «Обещай мне, что ты от меня не уйдешь никогда тихонько, украдкой». Он мне на это сказал: «Я и не собираюсь и обещаю, что никогда не уйду от тебя, я люблю тебя», и голос его задрожал. Я заплакала, обняла его, говорила, что боюсь его потерять, что так горячо люблю его, и, несмотря на невинные и глупые увлечения в течение моей жизни, я ни минуты не переставала любить его до самой старости больше всех на свете. Лев Ник. говорил, что и с его стороны то же самое, что нечего мне бояться; что между нами связь слишком велика, чтоб кто-нибудь мог ее нарушить, – и я почувствовала, что это правда, и мне стало радостно, и я ушла к себе, но вернулась еще раз и благодарилась ему, что снял камень с сердца моего.

Когда я уже простилась с ним и ушла к себе, немного погодя дверь отворилась и Лев Ник. вошел ко мне.

«Ты ничего не говори, – сказал он мне, – а я хочу тебе сказать, что и мне был радостен, очень радостен наш последний разговор с тобой сегодня вечером...» И он опять расплакался, обнял и поцеловал меня... «Мой! Мой!» – заговорило в моем сердце, и теперь я буду спокойнее, я опомнюсь, я буду добрее со всеми, и я постараюсь быть в лучших отношениях с Чертковым.

Он написал мне письмо, пытаюсь оправдаться передо мной. Я вызывала его сегодня на примирение и говорила ему, что он должен, по крайней мере, если он порядочный человек, извиниться передо мной за эти две его грубые фразы: 1) «Если б я хотел, я имел возможность и достаточно связей, чтобы *напакостить* вам и вашим детям. И если я этого не сделал, то только из любви к Льву Никол – чу». 2) «Если б у меня была такая жена, как вы, я давно убежал бы в Америку или застрелился».

Но извиняться он ни за что не хотел, говоря, что я превратно поняла смысл его слов и т. д.

А чего же яснее? Гордый он и очень глупый и злой человек! И где их якобы принципы христианства, смиренья, любви, непротивления?.. Все это лицемерие, ложь. У него и воспитанности простой нет.

Когда Чертков сходил с лестницы, то он сказал, что во второй фразе он считает себя неправым и что если его письмо ко мне меня не удовлетворит, то он готов выразить *сожаление*, чтоб стать со мной в хорошие отношения. Письмо же ничего не выразило, кроме уверток и лицемерия.

Теперь мне все равно, я тверда своей радостью, что Лев Николаевич показал мне свою любовь, свое сердце, – а всё и всех остальных я презираю, и я теперь неуязвима.

Петухи поют, рассветает. Ночь... поезда шумят, ветер в листьях тоже слегка шумит.

Л. Н. Толстой. Дневник.

Жив, но дурной день. Дурной тем, что все не бодр, не работаю. Даже корректуру не поправил. Поехал верхом к Черткову. Вернувшись домой, застал С. А. в раздражении, никак не мог успокоить. Вечером читал. Поздно приехал Гольденвейзер и Чертков. Соня с ним объяснялась и не успокоилась. Но вечером поздно очень хорошо с ней поговорил. Ночь почти не спал.

8 июля

Ласка мужа меня совсем успокоила, и я сегодня провела первый день в нормальном настроении. Ходила гулять, набрала большой букет полевых цветов Льву Николаевичу; переписывала свои старые письма к мужу, найденные еще раньше в его бумагах.

Были опять все те же: Чертков, Гольденвейзер, Николаев, Сутковой. Шел дождь, холодно, ветер. В хозяйстве двоят пар, красят крыши. Саша вяла, в сильном насморке, и на меня дует. Лев Никол. нам прочел вслух хорошенький французский рассказ нового писателя Mille. Ему и вчера понравился рассказ: «La biche écrasée»⁵⁶.

Он был бы здоров, если б не констипация.

В. Ф. Булгаков. Дневниковая запись.

После завтрака поехал со Львом Николаевичем в Овсянниково. Видели пепелище после пожара: на месте двух изб стоят две полуразрушившиеся печки с торчащими трубами. Ребятишки Горбунова весело бегают вокруг.

– Мне часто приходят в голову, – говорил, глядя на них, И. И. Горбунов, – стихи Пушкина:

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть
И равнодушная природа
Красою вечною сиять! —

хотя наше пожарище еще и не гробовой вход... Только, думаю, природа ко мне равнодушна.

– Нет, «равнодушная природа», – подтвердил, улыбаясь, Лев Николаевич, – равнодушная и красивая. Вот она мне – равнодушное, близкое, – указал он на девушку, пришедшую за детьми, – а природа – равнодушное.

– Но у вас у самих, Лев Николаевич, есть описания природы, прекрасные, где природа производит впечатление и равнодушной...

– Обязательно когда-нибудь перечитаю Толстого! – засмеялся Лев Николаевич.

После пожара Горбуновы ютятся в маленькой избе, в одну комнату; М. А. Шмидт – в каком-то сарайчике. Заговорили о предполагаемом переезде их в Телятинки к Чертковым, по предложению последних. Они не решаются покинуть Овсянниково. Как на одну из причин этой нерешительности Мария Александровна указала Льву Николаевичу на «слабую сторону» Софьи Андреевны: нежелание постоянной близости ко Льву Николаевичу его друзей.

Но Лев Николаевич стал горячо заверять Марию Александровну, что на этот раз она ошибается, как он наверное знает, и добавил:

– Не надо думать о других... Вот, действительно, крайности сходятся: думать как можно меньше о себе и в то же время не думать о других. Я говорю – «не думать о других» в том смысле, что ничего не предполагать, не предугадывать о них, а делать самому то, что нужно.

⁵⁶ «Раздавленная коза» (фр.).

9 июля

Господи! Когда кончатся все эти тяжелые подлые сплетни и истории! Приезжала невестка Ольга, поднялся опять разговор все о том же – о моем отношении к Черткову. Он мне нагрубил, а я ему ни единого неучтливового слова не сказала – и мои же косточки перебирают по углам, пересуживая меня и в чем-то обвиняя. Часто удивляюсь и не могу еще привыкнуть к тому, что люди просто *лгут*. Иногда ужасаешься, пытаешься с наивностью напомнить, объяснить что-нибудь, восстановить истину... И все эти попытки совершенно не нужны; люди часто *совсем не хотят правды*; им это и не нужно, и не в их пользу. Так было со всей чертковской историей. Но я больше об этом говорить не буду. Довольно всяких других тревог. Сегодня Лев Никол. с Лево́й поехали верхом по лесам. Шла черная, большая туча; но они прямо поехали на нее и даже не взяли ничего с собой. Лев Ник. был в одной белой тонкой блузе, Лева в пиджаке. Я прошу всегда Льва Ник. мне сообщать свой маршрут, чтобы можно было выслать ему платье или экипаж. Но он не любит этого делать. И сегодня разразилась сильная гроза, ливень, и я 1½ часа бегала по террасе в страшной тревоге. И опять это болезненное сжимание сердца, прилив крови к голове, сухость во рту и всех дыхательных органах и отчаяние в душе.

Вернулись мокрые, я хотела помочь растереть Льва Николаевича спиртом – спину, грудь, руки и ноги. Но он сердито отклонил мою помощь и едва согласился на то, чтобы его потер его слуга Илья Васильевич.

Ольга почему-то озлилась, и не осталась обедать, и увезла детей.

Весь день потом болела голова, нездоровилось, температура поднялась немного (37 и 5), и я уже ничего не могла делать, а работы много, особенно по изданию, которое совсем остановилось. Вечером я почувствовала изнеможение, легла в своей комнате и заснула и, к сожаленью, проспала весь вечер, просыпаясь несколько раз.

Приехали Чертков и Гольденвейзер. Пришел Николаев, который, по-видимому, очень раздражает Льва Ник – а своими разговорами. Л. Н. играл в шахматы с Гольденвейзером, который потом немного доиграл. Чудесная мазурка Шопена! всю душу перевернула! Лева-сын тревожен о заграничном паспорте, который сегодня не выдали ему в Туле, требуя от полиции свидетельства о беспрепятственном выпуске его из России, а Лева находится под судом за напечатанье в 1905 году брошюр «Где выход?» и «Восстановление ада». Все и это тревожно.

12 градусов тепла, сыро, неприятно. Саша грубо, дребезжаще кашляет – и это тревожно.

И что-то вообще *кончается*. Не жизнь ли моя или кого из близких?

Чертков привез мне не полный, как обещал, альбом снимков с Льва Николаевича, некоторые прекрасные, а мать его прислала мне книжечку «Миша» об ее умершем мальчике.

Я ее прочла, очень трогательно, но в ее отношениях к Иисусу, к Богу, даже к ребенку – много искусственного, мне непонятного.

Л. Н. Толстой. Дневник.

Долго спал. С удовольствием после писал, занимался корректурой первых пяти книжек. Ездил с Львом. Держусь. Вернулся мокрый. Волнение. После обеда Николаев, Гольденвейзер, Чертков. Тяжело. Держусь.

10 июля

Лев Николаевич, разумеется, не *посмел* в дневнике своем написать, как он поздно вечером вошел ко мне, плакал, обнимал меня и радовался нашему объяснению и нашей близости, а везде пишет: «Держусь». Что значит «держусь»? Большой любви, желания блага, бережности нельзя дать, чем я отдаю ему. Но дневники отдаются Черткову, он их будет издавать, он всему миру постарается повестить, что, как он говорил, от такой жены, как я, надо застрелиться или бежать в Америку.

Уехал сегодня Л. Н. верхом с Чертковым в лес: какие-то там будут разговоры. Подали лошадь и Булгакову, но его устранили, чтоб не нарушал их уединения. Вот *мне* приходится *держаться*, чтоб ежедневно видеть эту ненавистную фигуру.

В лесу раза два слезали зачем-то, и Чертков, направив свой аппарат на Льва Ник – а, снимал его в овраге. Приехав, Чертков хватился, что потерял часы. Он нарочно подъехал к балкону и сказал Льву Ник – у, где думает, что потерял часы. И Л. Н., жалкий, покорный, обещал после обеда *пойти искать* часы господина Черткова в овраге.

К обеду приехали приятные гости: Н. В. Давыдов, mr. Salomon и Н. Н. Ге. Давыдов привез мне прочтенное им «Воскресенье» для нового издания, но много еще мне над ним придется работы. Работу эту взял на себя и сын Сережа.

Я думала, что Льву Ник. будет совестно потащить всех нас, почтенных людей, в овраг и на кручь искать часы господина Черткова. Но он так его боится, что не остановился даже перед положением быть смешным – *ridicule* – исканья часов Черткову целым обществом в восемь человек. Мы топтались все в мокром сене и часов не нашли. Да и бог его знает, где этот рассеянный идиот их потерял! И почему надо было фотографировать на неудобном мягком и мокром сене. Лев Ник. во все лето в первый раз позвал меня с ним погулять, мне это было так радостно, и я с волнением ждала, что нас минует этот овраг с часами. Но я, конечно, ошиблась. На другое утро Лев Ник. встал рано, пошел на деревню, созвал ребят и с ними нашел часы в овраге.

Вечером читал mr. Salomon скучную французскую аллегория о блудном сыне; потом читали легкий рассказ Mill'a и другой, его же.

Давыдов уехал; я высказала Льву Ник. свое чувство неудовольствия и отчасти стыда за то, что повел вместо прогулки все общество в овраг за чертковскими часами; он, конечно, рассердился, произошло опять столкновение, и опять я увидела ту же жестокость, то же отчуждение, то же выгораживание Черткова. Совсем больная и так, я почувствовала снова этот приступ отчаяния; я легла на балконе на голые доски и вспоминала, как на этом же балконе 48 лет тому назад, еще девушкой, я почувствовала впервые любовь Льва Николаевича. Ночь холодная, и мне хорошо было думать, что где я нашла его любовь, там я найду и смерть. Но, видно, я ее еще не заслужила.

Вышел Лев Николаевич, услышав, что я шевелюсь, и начал с места на меня кричать, что я ему мешаю спать, что я уходила бы. Я и ушла в сад и два часа лежала на сырой земле в тонком платье. Я очень озябла, но очень желала и желаю умереть.

Поднялась тревога, пришел Душан Петрович, Н. Н. Ге, Лева, стали на меня кричать, поднимать меня с земли. Я вся тряслась от холода и нервности.

Если б кто из иностранцев видел, в какое состояние привели жену Льва Толстого, лежащую в два и три часа ночи на сырой земле, окоченевшую, доведенную до последней степени отчаяния, – как бы удивились добрые люди! Я это думала, и мне не хотелось расставаться с этой сырой землей, травой, росой, небом, на котором беспрестанно появлялась луна и снова пряталась. Не хотелось и уходить, пока мой муж не придет и не возьмет меня домой, потому что он же меня выгнал. И он пришел только потому, что Лева-сын кричал на него, требуя,

чтоб Л. Н. пришел ко мне, и они меня слевой привели домой. Три часа ночи, ни он, ни я, мы не спим. Ни до чего мы не договорились, ни капли любви и жалости я в нем не вызвала.

Ну и что ж! Что делать! Что делать! Жить без любви и нежности Льва Николаевича я не могу. А дать мне ее он не может. Четвертый час ночи...

Я рассказывала Давыдову, Саломону и Николаевой о злых и грубых выходках Черткова против меня; и все искренно удивлялись и ужасались. Удивлялись, как мой муж мог терпеть такие оскорбления, сделанные жене. И все единогласно выразили свою нелюбовь вообще к злему гордому дураку Черткову. Особенно негодовал Давыдов за то, что Чертков похитил все дневники Льва Ник – а с 1900 года.

– Ведь это должно принадлежать вам, вашей семье, – горячася, говорил Давыдов. – И письмо Черткова в газеты, когда Лев Ник. жил у него, – ведь это верх глупости и бестактности, – горячился милый Давыдов.

Всем все видно, все ясно; а мой бедный муж?..

Когда совсем рассвело, мы еще сидели у меня в спальне друг против друга и не знали, что сказать. Когда же это было раньше?! Я все хотела опять уйти, опять лечь под дуб в саду; это было бы легче, чем в моей комнате. Наконец я взяла Льва Ник – а за руку и просила его лечь, и мы пошли в его спальню. Я вернулась к себе, но меня опять потянуло к нему, и я пошла в его комнату.

Завернувшись в одеяло, связанное мною ему, с греческим узором, старенький, грустный, он лежал лицом к стене, и безумная жалость и нежность проснулись в моей душе, и я просила его простить меня, целовала знакомую и милую ладонь его руки – и лед растаял. Опять мы оба плакали, и я наконец увидела и почувствовала его любовь.

Я молила Бога, чтоб он помог нам дожить мирно и по-прежнему счастливо последние годы нашей жизни.

Л. Н. Толстой. Дневник.

Проснулся в пять. Встал, но почувствовал себя слабым и лег опять. В девять пошел на деревню. К Копылову. Дал денег. Очень просто и недурно. Прошел мимо Николаева. Он вышел, и опять разговор о справедливости. Я сказал ему, что понятие справедливости искусственно и не нужно христианину. Черту эту нельзя провести в действительности. Она фантастическая и совершенно не нужна христианину.

Дома написал длинное письмо рабочему в ответ на его возражение об «Единственном средстве». Ездил верхом с Чертковым. Он говорил о непротивлении – странно. Лег спать. Проснулся – Давыдов, Колечка и Саломон. Читал Саломона пустую, напыщенную статью «Retour de l'enfant prodigue»⁵⁷ и прелестный рассказ Милля. Потом пришли проститься Сутковой и Картушин. Очень они мне милы. Записать:

1) В вере можно разувериться. Кроме того, веры могут [быть] две противоположные. Правда, в верах более внешнего проявления, чем в сознании, но зато веры шатки и противоречивы, а сознание одно и неизменно.

Сейчас разговор опять о Черткове. Я отклонил спокойно.

⁵⁷ «Возвращение блудного сына» (фр.).

11 июля

Спала только от четырех до 7½ часов. Лев Ник. тоже мало спал. Чувствую себя больной и разбитой, но счастливой в душе. С Льв. Ник. дружно, просто – по-старому. Как сильно и глупо я люблю его! И как неумело! Ему нужны уступки, подвиги, лишения с моей стороны – а я этого не в силах исполнять, особенно теперь, на старости лет.

Утром приехал Сережа. Саша и ее тень – Варвара Михайловна на меня дуются, но мне *так* это все равно! Лева со мной добр, и он умен, начал меня лепить.

Лев Ник. ездил верхом с доктором. Вечером приехал Ив. Ив. Горбунов, и Лев Ник. с ним много беседовал по поводу новых копеечных книжечек. Прошлись все по саду, Лев Ник. имел усталый вид. Но вечер прошел в тихих разговорах, игре в шахматы, рассказах милого *mr. Salomon*.

Легли все рано. Черткова отклонил сам Л. Н. на нынешний вечер. Слава Богу! хоть один день вздохнуть свободно, отдохнуть душой.

Л. Н. Толстой. Дневник.

Жив еле-еле. Ужасная ночь. До четырех часов. И ужаснее всего был Лев Львович. Он меня ругал как мальчишку и приказывал идти в сад за С. А... Не могу спокойно видеть Льва. Еще плох я. Соня, бедная, успокоилась. Жестокая и тяжелая болезнь. Помогите, Господи, с любовью нести. Пока несую кое-как. Иван Иванович, с ним о делах. Теперь одиннадцать часов. Ложусь.

В. Ф. Булгаков. Дневниковая запись.

Я ночевал в Ясной. Проснувшись утром, узнал, что ночью в доме был большой переполох. Софья Андреевна, продолжая требовать, чтобы Лев Николаевич взял свои дневники у Черткова, устроила ему бурную сцену. Сначала она лежала на полу его балкона, а потом убежала в парк. Просьбы Душана, Н. Н. Ге и Льва Львовича не могли заставить ее вернуться. Она требовала, чтобы за ней пришел Лев Николаевич. Наконец он пришел, и она вернулась.

Нехорошо проявил себя Лев Львович, который грубо кричал на отца, требуя, чтобы он отправился за Софьей Андреевной в парк.

Приехал Сергей Львович. Днем между детьми Толстого происходил совет о том, как предохранить Льва Николаевича от всевозможных неожиданных выходов больной Софьи Андреевны.

А. Л. Толстая. Из воспоминаний.

А вечером, после того как брат Лев кричал на отца за то, что он не жалеет матери, отец сказал мне: «Мне кажется даже, что он назвал меня дрянью», и глаза его затуманились слезами. Он дал мне списать из записной книжки в дневник следующую мысль: «Я не ожидал того, что когда тебя ударят по одной и ты подставишь другую, – что бьющий опомнится, перестанет бить и поймет значение твоего поступка. Нет, он, напротив того, и подумает, и скажет: вот как хорошо, что я побил его; теперь уж по его терпению ясно, что он чувствует свою вину и все мое превосходство перед ним. Но знаю, что, несмотря на это, все-таки лучшее для себя и для всех, что ты можешь сделать, когда тебя бьют по одной щеке, – это то, чтобы подставить другую. В этом „радость совершенная“. Только исполни. И тогда за то, что кажется горем, можно только благодарить».

Отцу было легче, когда приезжали старшие, и я снова вызвала Таню. Мы много говорили с ней.

«То, что отец делает теперь, это подвиг любви, лучше всех 30 томов его сочинений, – сказала она. – Если бы даже он умер, терпя то, что терпит, и делая то, что делает, я бы сказала, что он не мог поступить иначе». Когда я повторила отцу слова Тани, «Умница, Таничка», – сказал он и разрыдался.

12 июля

Днем позировала Леве, он лепил мой бюст, и сегодня стало более похоже, он талантлив, умен и добр. Какое сравнение с Сашей, увы!

Лев Ник. поджидал Гольденвейзера, чтоб с ним ехать верхом, а тот все не ехал. Послали в Телятинки, а Филька вместо Гольденвейзера вызвал ошибкой Черткова. Всего этого я не знала; но Л. Н., не дождавшись Гольденвейзера, пошел на конюшню седлать свою лошадь (чего никогда раньше не делал), чтоб ехать навстречу к Гольденвейзеру. Я подумала, что если Лев Ник. не встретит его, он очутится один, жара смертельная, еще сделается солнечный удар, и я побежала на конюшню спросить Льва Ник – а, куда он поедет, если не встретит никого. Лев Ник. торопил кучера; тут стоял доктор, я говорю: «Вот хорошо, пусть Душан Петрович едет с тобой». Лев Ник. согласился; но только что Л. Н. выехал из конюшни, из-под горы, вижу, поднимается ненавистная мне фигура на белой лошади – Черткова. Я ахнула, закричала, что опять обман, опять все подстроили, солгали про Гольденвейзера, а вызван был Чертков, и со мной тут же, при всей дворне, сделалась истерика, и я убежала домой. Лев Ник. сказал Черткову, что он с ним не поедет, и Чертков уехал домой, а Л. Н. поехал с доктором.

К счастью, обмана, по-видимому, не было, но Филька спросонок забыл, к кому ему приказано ехать, и ошибкой заехал к Черткову, вызвал его к Л. Н. вместо Гольденвейзера. Но я так намучена все это время, что малейшее напоминание о Черткове и тем более вид его приводят меня в отчаянное волнение. Вечером он приезжал, я ушла и тряслась как несчастная целый час. Были Гольденвейзер с женой, оба очень приятные. Уехал Саломон; такой он славный, живой, умный, участливый. Лева трогательно добро относится ко мне. Лев Никол. стал много мягче, но сегодня вечером вижу, он сам не свой – видно, ждал Черткова, а он долго не ехал, и Лев Ник. пошел писать ему письмо, объяснение того, почему он к ним не поехал. Очень нужно! В этом письме, верно, писал что-нибудь дурное обо мне. Обещал мне показать, но как бы опять не вышел обман. Столько скрытого, лживого вокруг меня!

Приехали Сухотины: Таня и Михаил Сергеевич. Тяжелые разговоры. Таня, Саша верят во всех моих рассказах только тому, что им нравится выбрать из них; и как бы правдивы ни были мои слова, им нужно только то, что им на руку, чтоб бранить и осуждать меня.

Я наверное погибну так или иначе; и радуюсь тому, что не переживу Льва Николаевича. И какое будет счастье избавиться от тех страданий, которые я переживала и переживаю теперь!

Вызвала меня сегодня письмом мать Черткова: Елизавета Ивановна. К ней приехали два проповедника: Фетлер и другой, ирландский профессор, речи которого я мало понимала и который усердно ел и изредка произносил механически какие-то религиозные фразы. Но Фетлер очень убежденный человек, красноречив, прекрасно говорит и начал меня старательно обращать в свою веру – Искупления. Я возражала ему только на то, что он настаивал на материальном искуплении, пролипании крови, страданий и смерти *тела* Христа. А я говорила, что в вопросы религиозные не надо вводить ничего материального, что дорого учение Христа и его божественность в духе, а не в теле. И это им не нравилось. Потом этот Фетлер стал на колена и начал молиться за меня, за Льва Николаевича, за наше обращение, за мир и радость наших душ и проч. Молитва прекрасно составленная, но странно все это! Елизавета Ивановна все время присутствовала и позвала меня к себе, чтобы спросить, за что я возненавидела ее сына? Я ей объяснила, сказала про дневники и про то, что ее сын отнял у меня моего любимого мужа. Она на это сказала:

– А я огорчалась всегда тем, что ваш муж отнял у меня моего сына! – И права.

Три часа ночи. Луна красиво светит в мое окно, а на душе тоска, тоска. И какая-то только болезненная радость, что вот тут совсем близко дышит и спит *мой* Левочка, который еще не весь отнят у меня...

В. Ф. Булгаков. Дневниковая запись.

...Я должен был возвращаться из Ясной Поляны в Телятинки как раз в то время, когда Софья Андреевна направлялась к Е. И. Чертковой. Узнав об этом, она любезно предложила довезти меня туда, на что я с удовольствием согласился.

В коляске, на рысаках, мы поехали. Софья Андреевна – в изящном черном шелковом костюме ради великосветской Е. И. Чертковой, друга императрицы-матери Марии Федоровны...

Поехали в объезд, по большаку, чтобы миновать плохой мост через ручей Кочак.

И вот Софья Андреевна всю дорогу плакала, была жалка до чрезвычайности и умоляла меня передать Черткову, чтобы он возвратил ей рукописи дневников Льва Николаевича.

– Пусть их все переписут, скопируют, – говорила она, – а мне отдадут только подлинные рукописи Льва Николаевича!.. Ведь прежние его дневники хранятся у меня... Скажите Черткову, что, если он отдаст мне дневники, я успокоюсь... Я верну ему тогда мое расположение, он будет по-прежнему бывать у нас, и мы вместе будем работать для Льва Николаевича и служить ему... Вы скажете ему это?.. Ради Бога, скажите!..

Софья Андреевна, вся в слезах, дрожащая, умоляюще глядела на меня: слезы и волнение ее были самые непритворные...

Она почему-то не верила, что я передам ее слова Черткову, и умоляла меня об этом снова и снова...

Я не мог без чувства глубокого сострадания смотреть на эту плачущую, несчастную женщину. Тех нескольких десятков минут, которые я провел с нею в экипаже, я никогда не забуду.

Признаюсь, меня самого охватило волнение, и мне так захотелось, чтобы какую угодно ценою, ценою ли передачи рукописей Софье Андреевне или еще каким-нибудь способом, был возвращен мир в Ясную Поляну – мир, столь нужный для всех, и особенно для Льва Николаевича!.. В этом настроении я отправился к В. Г. Черткову, когда мы приехали в Телятинки.

Узнав, что я имею поручение от Софьи Андреевны, Владимир Григорьевич, встревоженный, с озабоченным видом, ведет меня в комнату своего ближайшего помощника и неременного советника Алеши Сергеенко. <...>

Я начинаю рассказывать о просьбе Софьи Андреевны вернуть рукописи. Владимир Григорьевич – в сильном возбуждении.

– Что же, – спрашивает он, уставившись на меня своими большими белыми, возбужденно бегающими глазами, – ты ей так сейчас и выложил, где находятся дневники?!

При этих словах Владимир Григорьевич, совершенно неожиданно для меня, делает страшную гримасу и высовывает язык.

Я гляжу на Черткова и страдаю внутренне от того нелепого положения, в которое меня ставят, и не знаю: меня ли это унижает, или мне надо жалеть этого человека за то унижение, которому он себя подвергает. Я соображаю, однако, что Чертков хочет посмеяться над проявленной

мною якобы беспомощностью, когда-де на меня надела в экипаже Софья Андреевна. Он, должно быть, заметил то волнение, в котором я находился, и раздражился, поняв, что сочувствую Софье Андреевне и жалею ее.

Собравшись силами, я игнорирую выходку Владимира Григорьевича и отвечаю ему:

– Нет, я не мог ей ничего сказать, потому что я сам не знаю, где дневники!

– Ах, вот это прекрасно! – восклицает Чертков и суетливо поднимается с места. – Так ты иди, пожалуйста!.. (Он отворяет передо мной дверь из комнаты в коридор.) Там пьют чай... Ты, наверное, проголодался... А мы здесь поговорим!..

Дверь захлопывается передо мной, шелкает задвижка замка. Я выхожу, ошеломленный тем приемом, какой мне оказали, в коридор. Владимир Григорьевич и Алеша Сергеенко совещаются.

Позже я узнаю, что дневники решено не возвращать.

13 июля

Отправив вчера Черткова с верховой езды, для меня, Лев Ник. вечером ждал его для объяснения причины, и Чертков долго не ехал. Чуткая на настроение моего мужа, я видела, как он беспокойно озирается, ждал его вечером, как ждут влюбленные, делался все беспокойнее, сидя на балконе внизу, все глядел на дорогу и наконец написал письмо, которое я просила мне показать. Саша письмо привезла, и оно у меня. Разумеется, «милый друг» и всякие нежности... и я опять в диком отчаянии. Письмо это он отдал все-таки приехавшему Черткову. Я взяла его под предлогом прочтения и сожгла. Мне уж он никогда больше не пишет нежных слов, а я делаюсь все хуже, все несчастнее и все ближе к концу. Но я *трусиха*. Не поехала сегодня купаться, потому что боюсь *утопиться*. Ведь нужен *один момент* решимости, и я его еще не нахожу.

Позировала для Левы долго. Лев Ник. ездил верхом с Сухотиным и Гольденвейзером. Я искала дневник последний Льва Ник – а и не нашла. Он понял, что я нашла способ его читать, и спрятал еще куда-то. Но я найду, если он не у Черткова, не у Саши или у доктора, куда спрятал от меня.

Мы, как два молчаливых врага, хитрим, шпионим, подозреваем друг друга! Скрываем, то есть Лев Ник. скрывает вместе с этим *злым фарисеем*, как его прозвал один близкий человек – Н. Н. Ге-сын, – все, что можно скрывать; может быть, и последний дневник он вчера вечером уже передал Черткову.

Господи, помилуй меня, люди все злы, меня не спасут... Помилуй и спаси от греха!..

Ночь 13 на 14 июля. Допустим, что я помешалась и *пункт* мой, чтоб Лев Ник. вернул к себе свои дневники, а не оставлял их в руках Черткова. Две семьи расстроены; возникла тяжелая рознь; я уже не говорю, что я исстрадалась до последней крайности (сегодня я весь день ничего и в рот не брала). Всем скучно, мой измученный вид, как назойливая муха, мешает всем.

Как быть, чтоб все были опять радостны, чтоб уничтожить мои всякие страдания?

Взять у Черткова дневники, эти несколько черных клеенчатых тетрадок, и положить их обратно в стол, давая ему по одной для выписок. Ведь только!

Если трусость моя пройдет и я наконец решусь на самоубийство, то, как покажется всем в прошлом, моя просьба легко исполнима, и все поймут, что не стоило настаивать, жестоко упрячиться и замучить меня до смерти отказом исполнить мое желание.

Будут объяснять мою смерть всем на свете, только не настоящей причиной: и истерией, и нервностью, и дурным характером, – и никто *не посмеет*, глядя на мой, убитый моим мужем, труп, сказать, что я могла бы быть *спасена только* таким простым способом – *возвращением в письменный стол моего мужа четырех или пяти клеенчатых тетрадок*. (Их было семь⁵⁸.)

И где христианство? Где любовь? Где их *непротивление*? Ложь, обман, злоба и жестокость.

Эти два упорных человека, мой муж и Чертков, взяли крепко за руки и давят, умерщвляют меня. И я их боюсь; уж их железные руки сдавили мое сердце, и я сейчас хотела бы вырваться из их тисков и бежать куда-нибудь. Но я чего-то еще боюсь...

Говорят о каком-то *праве* каждого человека. Разумеется, Лев Ник. *прав*, мучая меня своим отказом взять *его* дневники у Черткова. Но при чем *право* с женой, с которой прожил полвека? И при чем *право*, когда дело идет о жизни, об общем умиротворении, о хороших

⁵⁸ Приписано позднее.

со всеми отношениями, о любви и радости, о здоровье и спокойствии всех – и наконец, об излюбленном Л. Н. *непротивлении*. Где оно?

Завтра Л. Н., вероятно, поедет к Черткову. Таня с мужем уедет в Тулу, а я – я буду свободна, и если не Бог, то еще какая-нибудь сила поможет мне уйти не только из дома, но из жизни...

Я даю способ *спасти* меня – вернуть дневники. Не хотят – пусть променяются: дневники останутся *по праву* у Черткова, а *право* жизни и смерти останется за мной.

Мысль о самоубийстве стала крепнуть. Слава Богу! Страдания мои должны скоро прекратиться.

Какой ужасный ветер! Хорошо бы сейчас уйти... Надо еще попытаться спастись... в последний раз. И если *отказ*, то будет еще больней, и тогда еще легче исполнить свое избавление от страданий; да и стыдно будет вечно грозить и опять вертеться на глазах у всех, кого я мучаю... А хотелось бы еще ожить, увидеть в исполнении моего желанья тот проблеск любви моего мужа, который столько раз согревал и *спасал* меня в моей жизни и который теперь как будто навеки затушил Чертков. Ну и пусть без этой любви потухает и вся моя жизнь.

«Утопающий хватается за соломинку...» Мне хочется дать прочесть моему мужу все то, что теперь происходит в душе моей; но при мысли, что это вызовет только его гнев и тогда уже наверное убьет меня, я безумно волнуюсь, боюсь, мучаюсь...

Ох, какая тоска, какая боль, какой ад во всем моем существе! Так и хочется закричать: «Помогите!» Но ведь это пропадет в том злом хаосе жизни и людской суеты, где помощь и любовь в книгах и словах, а где холодная жестокость на деле...

Как раньше на мой единственный в целые десятки лет призыв о возвращении домой Льва Ник – а, когда я заболела нервным расстройством, он отозвался холодно и недоброжелательно и этим дал усилиться моей болезни; так и теперь, – это равнодушие к моему желанью и упорное сопротивление моей болезненной просьбе может иметь самые тяжелые последствия... И все будет слишком поздно... Да ему что!! У него Чертков, а хотелось бы. Но у него дневники, надо их вернуть...

Д. П. Маковицкий. Дневниковая запись.

Л. Н. вчера обещал Гольденвейзеру, что с ним поедет кататься верхом, и послал за ним. Но конюх Филька спутал и позвал Черткова. Л. Н. пошел на конюшню седлать лошадей. Софья Андреевна, в эти дни особенно недоверчивая, пошла за ним. <...> ...и, как только Л. Н. стал оглядывать угол людской, тут перед глазами Софьи Андреевны, за калиткой ограды, выросла на серой лошади фигура Черткова, вспотевшего от жары и быстрой езды.

Софья Андреевна вскрикнула, закрыла себе глаза руками и стала громко рыдать (голосить). Чертков постоял минуту в недоумении, понял, обернулся, повернул лошадь и скрылся, спустился в овраг, уехал обратно. На скотном дворе собрались (было два часа, когда рабочие уходят работать) девушки и почти вся дворня. Софья Андреевна, в белом платье, шла и голосила. Л. Н. повернул и поехал за ней и говорил ей, что это случайно, что должен был приехать Гольденвейзер. Софья Андреевна как будто не понимала, потом близ Кузминского дома остановилась, утихла и ответила: «Как же мне быть благоразумной? Это как яма сзади тебя, в которую оступишься». <...>

Софья Андреевна сегодняшним поведением ужасно осрамила себя перед народом. Сперва недоумение: «Или у нее дети голодны, и потому она плачет», – говорили. «Это графа Бог держит так долго для крестьян, а она (семья Л. Н.) готова сжечь крестьян на спичке».

С этого дня пошли разговоры в деревне о том, что происходит между графиней и старым графом.

Л. Н. недоумевал, в какой мере Софья Андреевна больна и в какой притворяется; жалея ее, ради успокоения ее исполнял некоторые ее требования. Л. Н. – чу тяжело было не сознаваться ей про завещание.

Это потакание раздражало Александру Львовну, Варвару Михайловну, Черткова, Гольденвейзера и др. Александра Львовна и Чертков высказывали ему, что они не одобряют его уступчивости Софье Андреевне. Л. Н. пришлось лавировать между разносторонними влияниями. Гольденвейзер, принимавший близкое участие в происходящей драме, разговаривал об этом с Л. Н. (он чуть не каждый вечер играл с ним в шахматы и после входил побеседовать в кабинет). Я, грешный, очень негодовал, что посторонние вмешиваются в семейное дело и позволяют себе советовать, внушать, так и так поступать и не оставляют Л. Н. довоевывать бой и поступать по-своему. Он хотел победить мягкостью, смирением, или переждать *raptus*⁵⁹ Софьи Андреевны, или, так как его присутствие только раздражало ее и ему становилось невыносимо терпеть, удалиться на время от нее.

Л. Н.: Я боюсь, что это у нее сумасшествие. Всё – я. Хочется бросить жизнь. Я ослабеваю. Она просила поехать на неделю в Никольское.

Л. Н. Толстой. Дневник.

Сухотины. Писал книжку. Ездил с Михаилом Сергеевичем и Гольденвейзером. Соня все очень слаба. Не ест. Но держится. Помоги Бог и ей и мне. Записал в книжку.

⁵⁹ Припадок (лат.).

14 июля

Не спала всю ночь и на волоске была от самоубийства. Как бы крайни ни были мои выражения о страданиях моих – все будет мало. Вошел Лев Никол., и я ему сказала в страшном волнении, что на весах с одной стороны возвращение дневников, с другой – моя жизнь, пусть выбирает. И он выбрал, спасибо ему, и вернул дневники от Черткова. Я от волнения плохо наклеила тут то письмо, которое он принес мне сегодня утром; очень мне это жаль, но оно переписано в нескольких местах, между прочим в книге писем Льва Ник – а ко мне, мной переписанной, и есть экземпляр у дочери Тани.

Саша ездила к Черткову за дневниками с письмом от Льва Николаевича. Но душа еще скорбит, и эта так ясно и твердо назревшая мысль о лишении себя жизни – я чувствую – будет всегда готова, если вновь уязвят меня в мои больные места сердца.

Вот какой конец моей долгой, раньше такой счастливой супружеской жизни!.. Но еще не совсем конец; сегодняшнее письмо Льва Ник – а ко мне еще клочок прежнего счастья, но маленький, изношенный клочок!

Дневники запечатала моя дочь Таня, и завтра их повезут Таня с мужем в Тулу, в банк. Расписку напишут на имя Льва Н – а и его наследников, и расписку привезут Л. Н. Только бы меня опять не обманули; только бы опять тихонько не выманил этот иезуит Чертков у Льва Ник – а эти дневники!

Третьи сутки ничего в рот не брала, и это почему-то всех тревожило, а это наименьшее... Все дело в страстности и силе огорчения.

Сожалею и раскаиваюсь, что огорчила детей моих, Леву, Таню; особенно Таню; она опять так ласкова, сострадательна и добра ко мне! Я очень ее люблю. Надо разрешить Черткову бывать у нас, хотя мне это очень, очень тяжело и неприятно. Если я не разрешу свиданий, будет целая литература тайной и нежной переписки, что еще хуже.

Л. Н. Толстой. Письмо к С. А. Толстой, Ясная Поляна.

- 1) Теперешний дневник никому не отдам, буду держать у себя.
- 2) Старые дневники возьму у Черткова и буду хранить сам, вероятно в банке.
- 3) Если тебя тревожит мысль о том, что моими дневниками, теми местами, в которых я пишу под впечатлением минуты о наших разногласиях и столкновениях, что этими местами могут воспользоваться недоброжелательные тебе будущие биографы, то, не говоря о том, что такие выражения временных чувств как в моих, так и в твоих дневниках никак не могут дать верного понятия о наших настоящих отношениях, – если ты боишься этого, то я рад случаю выразить в дневнике или просто как бы в этом письме мое отношение к тебе и мою оценку твоей жизни.

Мое отношение к тебе и моя оценка тебя такие: как я смолodu любил тебя, так я не переставая, несмотря на разные причины охлаждения, любил и люблю тебя. Причины охлаждения эти были (не говорю о прекращении брачных отношений – такое прекращение могло только устранить обманчивые выражения ненастоящей любви) – причины эти были, во-первых, все большее и большее удаление мое от интересов мирской жизни и мое отвращение к ним, тогда как ты не хотела и не могла расстаться, не имея в душе тех основ, которые привели меня к моим убеждениям, что очень естественно и в чем я не упрекаю тебя. Это во-первых. Во-вторых (прости меня, если то, что я скажу, будет неприятно тебе, но то, что теперь между нами происходит, так важно, что надо не

бояться высказывать и выслушивать всю правду), во-вторых, характер твой в последние годы все больше и больше становился раздражительным, деспотичным и несдержанным. Проявления этих черт характера не могли не охлаждать – не самое чувство, а выражение его. Это во-вторых. В-третьих. Главная причина была роковая та, в которой одинаково не виноваты ни я, ни ты, – это наше совершенно противоположное понимание смысла и цели жизни. Все в наших пониманиях жизни было прямо противоположно: и образ жизни, и отношение к людям, и средства к жизни – собственность, которую я считал грехом, а ты – необходимым условием жизни. Я в образе жизни, чтобы не расставаться с тобой, подчинялся тяжелым для меня условиям жизни, ты же принимала это за уступки твоим взглядам, и недоразумение между нами росло все больше и больше. Были и еще другие причины охлаждения, виною которых были мы оба, но я не стану говорить про них, потому что они не идут к делу. Дело в том, что я, несмотря на все бывшие недоразумения, не переставал любить и ценить тебя.

Оценка же моя твоей жизни со мной такая: я, развратный, глубоко порочный в половом отношении человек, уже не первой молодости, женился на тебе, чистой, хорошей, умной восемнадцатилетней девушке, и, несмотря на это мое грязное, порочное прошедшее, ты почти 50 лет жила со мной, любя меня, трудовой, тяжелой жизнью, рожая, кормя, воспитывая, ухаживая за детьми и за мною, не поддаваясь тем искушениям, которые могли так легко захватить всякую женщину в твоём положении, сильную, здоровую, красивую. Но ты прожила так, что я ни в чем не имею упрекнуть тебя. За то же, что ты не пошла за мной в моем исключительном духовном движении, я не могу упрекать тебя и не упрекаю, потому что духовная жизнь каждого человека есть тайна этого человека с Богом и требовать от него другим людям ничего нельзя. И если я требовал от тебя, то я ошибался и виноват в этом.

Так вот верное описание моего отношения к тебе и моя оценка тебя. А то, что может попасться в дневниках (я знаю только, ничего резкого и такого, что бы было противно тому, что сейчас пишу, там не найдется).

Так это 3) о том, что может и не должно тревожить тебя о дневниках.

4) Это то, что если в данную минуту тебе тяжелы мои отношения с Чертковым, то я готов не видаться с ним, хотя скажу, что это мне не столько для меня неприятно, сколько для него, зная, как это будет тяжело для него. Но если ты хочешь, я сделаю.

Теперь 5) то, что если ты не примешь этих моих условий доброй, мирной жизни, то я беру назад свое обещание не уезжать от тебя. Я уеду. Уеду, наверное, не к Черткову. Даже поставлю непременно условием то, чтобы он не приезжал жить около меня, но уеду непременно, потому что дальше так жить, как мы живем теперь, невозможно.

Я бы мог продолжать жить так, если бы я мог спокойно переносить твои страдания, но я не могу. Вчера ты ушла взволнованная, страдающая. Я хотел спать лечь, но стал не то что думать, а чувствовать тебя и не спал и слушал до часу, до двух – и опять просыпался и слушал и во сне, или почти во сне, видел тебя. Подумай спокойно, милый друг, послушай своего сердца, почувствуй, и ты решишь все, как должно. Про себя же скажу, что я, с своей стороны, решил все так, что иначе *не могу, не могу*. Перестань, голубушка,

мучить не других, а себя, себя, потому что ты страдаешь в сто раз больше всех. Вот и все.

Лев Толстой.

14 июля утро

В. Ф. Булгаков. Дневниковая запись.

По поручению Льва Николаевича, Александра Львовна отправилась в Телятинки за дневниками и оставалась там очень долго.

Как я узнал от Варвары Михайловны, в Телятинках, в той самой комнате у Сергеенко, где третьего дня произошел наш разговор с Чертковым, спешно собрались самые близкие Черткову люди – его alter ego Алеша Сергеенко, О. К. Толстая (сестра Анны Константиновны), Александра Львовна, муж и жена Гольденвейзеры, а также сам Владимир Григорьевич, и все они занялись спешным копированием тех мест в дневнике Льва Николаевича, которые компрометировали Софью Андреевну и которые она, по их мнению, могла уничтожить. Затем дневники были упакованы и отправлены в Ясную Поляну. Чертков, стоя на крыльце телятинковского дома, с шуточной торжественностью троекратно перекрестил Александру Львовну в воздухе папкой с дневниками и затем вручил ей эти дневники. Тяжело ему было расставаться с ними.

А в Ясной Поляне с таким же волнением и нетерпением ожидала дневников Софья Андреевна. По словам Варвары Михайловны, Софья Андреевна с такой стремительностью кинулась к привезенным дочерью дневникам, что пришлось звать на помощь М. С. Сухотина, чтобы помешать ей повредить тетради, которые и были затем отобраны у нее и опечатаны.

Все это происходило уже под вечер, а день Льва Николаевича протекал своим чередом.

Л. Н. Толстой. Письмо В. Г. Черткову.

Вы поймете, милый друг, всю тяжесть приносимой мною жертвы лишения личного, надеюсь, временного лишения общения с вами, но знаю, что вы любите не меня, Л. Т., а мою душу. А моя душа – ваша душа, и требования ее одни и те же. Саша все расскажет вам. Мне хорошо, очень хорошо.

И будет уж совсем хорошо и еще лучше, когда я получу от вас то, что ожидаю, – вашего единения со мною во имя того, чем мы оба живем. Все будет хорошо, если мы не ослабеем. Помоги Бог.

Пишите.

Л. Т.

Д. П. Маковицкий. Дневниковая запись от 1 июля 1910 г.

Л. Н. читал «Психиатрию», и это чтение подействовало на него так, что он решил взять дневники от Черткова и отдать их в банк. Он из учебника психиатрии вычитал, что такое поведение Софьи Андреевны присуще психическим больным.

Л. Н. Толстой. Дневник.

Очень тяжелая ночь. С утра начал писать ей письмо и написал. Пришел к ней. Она требует того самого, что я обещаю и даю. Не знаю, хорошо ли,

не слишком ли слабо, уступчиво. Но я не мог иначе сделать. Поехали за дневниками. Она все в этом же раздраженном состоянии, не ест, не пьет. Занимался книжками, сделал три. Потом ездил в Рудаково. Не могу быть добр и ласков с Львом, и он ничего не понимает и не чувствует. Привезла Саша дневники. Ездил два раза. И Соня успокоилась, благодарил меня. Кажется, хорошо. От Бати тронувшее меня письмо. Ложусь спать. Все не совсем здоров и слаб. На душе хорошо.

15 июля

Всю ночь не спала, все думала, что если Лев Ник. так легко взял назад в своем письме обещание не уехать от меня, то он так же легко будет брать назад все свои слова и обещания, и где же тогда *верные правдивые* слова? Недаром я волнуюсь! Ведь обещал же он мне при Черткове, что отдаст дневники *мне*, и обманул, положив их в банк. Как же успокоиться и выздороветь, когда живешь под угрозами: «уйду и уйду».

Как жутко голова болит – затылок. Уж не нервный ли удар? Вот хорошо бы – только совсем бы насмерть. А больно душе быть убитой своим мужем. Сегодня утром, не спав всю ночь, я просила Льва Ник – а отдать мне расписку от дневников, которые завтра свезут в банк, чтоб быть спокойной, что он опять не возьмет свое слово назад и отдаст дневники Черткову, раз он так скоро и легко это делает, то есть берет слово назад.

Он страшно рассердился, сказал мне: «Нет, это ни за что, ни за что» – и сейчас же бежать. Со мной опять сделался тяжелый припадок нервный, хотела выпить опий, опять струсила, гнусно обманула Льва Ник – а, что выпила, сейчас же создалась в обмане – плакала, рыдала, но сделала усилие и овладела собой. Как стыдно, больно, но... нет, больше ничего не скажу; я больна и измученна.

Поехала с сыном Левою кататься в кабриолете, смотреть дом в Рудакове для Овсянникова, для Тани. Лев Ник. поехал с доктором верхом. Думала – поедем вместе, но Л. Н. взял умышленно другое направление, чем мы, – сказал: поеду по шоссе и через Овсянниково кругом домой, а поехал наоборот – раньше через Овсянниково, будто невзначай, – а я все замечаю, все помню и глубоко страдаю.

Разрешила через силу Черткову бывать у нас, *старательно* вела себя с ним, но страдала; следила за каждым движением и взглядом и Льва Николаевича, и Черткова. Они были осторожны. Но до чего я ненавижу этого человека! Мне страданье его присутствие, но буду выносить, чтоб *видеть* их вместе на моих глазах, а не где-нибудь еще и чтоб они не затеяли вместо свиданий какую-нибудь еще длинную переписку.

Был и сын Черткова, милый, непосредственный мальчик, который привез своего друга-англичанина, шофера автомобилей. Приехал еще англичанин из Южной Америки, скучный, тупой, неинтересный. Вышла в газетах статейка Л. Н. о разговоре с крестьянином: «Из дневника».

Дневники Льва Н – а сегодня запечатали, семь тетрадей, и завтра мы их с Таней везем на хранение в банк. Сейчас они лежат в Туле у доктора Грушецкого, что меня беспокоит. Хотели сегодня их убрать в банк, но все оказалось заперто по случаю молебствия в Туле о холере, и завтра надо их взять у Грушецкого и положить в банк. Это что-то новое и неприятное в Льве Николаевиче; почему в банк, а не держать их дома или отдать в Исторический музей, где все остальные дневники, – на хранение и почему именно *эти* дневники именно я не должна читать, а ведь после смерти Льва Ник – а бог знает кто их будет читать, а *жена не смей*. Так ли было во всю жизнь нашу! Горько душе все это! И все влияние Черткова. «Конечно, вам обидно, – сказал Сухотин, – я это понимаю и сам не люблю Черткова».

Пропасть скучного народа: англичанин, Дима с товарищем (эти лучшие), монотонный, скучный Николаев, Гольденвейзер, Чертков. Пускали граммофон, потому что всем этим господам говорить не о чем. Пробовала читать корректуру – не идет. Лева меня лепит, и мне возле него спокойнее, он все понимает, и любит, и жалеет меня.

Дорого мне досталось отнятие дневников у Черткова; но если б сначала – опять было бы то же самое; и за то, чтоб они никогда не были у Черткова, я готова отдать весь остаток моей жизни и не жалею той потраченной силы и здоровья, которые ушли на выручку днев-

ников; и теперь эта потеря здоровья и сил пали на ответственность и совесть моего мужа и Черткова, так упорно державшего эти дневники.

Положены они будут на имя Льва Н – а, с правом их взять только ему. Какое недоброе по отношению к жене и неделикатное, недоверчивое отношение! Бог с ним!

Получила письмо от А. И. Масловой, и потянуло меня в их ласковый, честный, добрый мирок, без всяких хитростей и тяжелых осложнений; и, может быть, там и Сергей Иванович, и я отдохнула бы душой среди всех их и под звуки той музыки, которая когда-то усыпила тоже мое острое горе. Я так устала от всех осложнений, хитростей, скрываний, жестокости, от признаваемого моим мужем его *охлаждения* ко мне! За что же я-то буду все *горячиться* и безумно любить его? Повернись и мое сердце и охладей к тому, который все делает для этого, признаваясь в своем охлаждении. Если надо жить и не убиваться – надо искать утешения и радости. Скажу и я: «Так жить – невозможно! Холод сердца – мне, горячность чувств – Черткову».

В. Ф. Булгаков. Дневниковая запись.

История с дневниками, по-видимому, близится к концу. Лев Николаевич уступил Софье Андреевне: взял дневники у Черткова. Но при этом решил не предоставлять дневников как предмета спора ни той ни другой стороне, а хранить их как бы в нейтральном месте, именно в каком-нибудь тульском банке.

Когда я стал прощаться, чтобы уходить домой, Софья Андреевна просила меня передать Владимиру Григорьевичу приглашение быть у них сегодня вечером.

С другой стороны, и от Льва Николаевича я получил письмо для Владимира Григорьевича. Кроме того, Лев Николаевич просил меня передать ему на словах, чтобы он был возможно осторожнее с Софьей Андреевной, не упоминал бы ни слова о дневниках и чтобы воздержался от беседы со Львом Николаевичем наедине, у него в кабинете, ограничившись свиданием с ним в общей комнате.

Он вынул из кармана письмо Владимира Григорьевича и показал фразу, где тот, как оказалось, уже спрашивал, не лучше ли было бы хранить дневники в Ясной Поляне, чтобы в случае надобности иметь возможность пользоваться ими для работы.

– Вот такие вещи разве можно говорить?! Пожалуйста, скажите, чтобы ни слова не упоминал о дневниках! Это может вызвать такой взрыв, какого предугадать нельзя. Ведь дневники – это прямо пункт умопомешательства душевнобольного!..

Д. П. Маковицкий. Дневниковая запись.

Сегодня все сначала. Софья Андреевна пала на колени к ногам Л. Н., хватала его за блузу.

– У меня к тебе последняя просьба: дай мне дневники или ключ от них.

Л. Н. ей сказал, что ключ у Михаила Сергеевича, и ушел. Когда шел мимо дома, она высунулась из окна и крикнула вслед ему: «Я опий выпила». Л. Н. бегом вернулся, вбежал наверх, а Софья Андреевна ему: «Я тебя обманула, я и не думала пить». Эта сцена взволновала Л. Н., и он сказал Софье Андреевне: «Ты все делаешь для того, чтобы я ушел».

У Л. Н. сильное сердцебиение. Он вышел, а она опять его позвала. После Варвара Михайловна сказала ей, что она все делает для того, чтобы Л. Н. ушел. Тогда Софья Андреевна успокоилась. Вошла Александра Львовна

и тоже сказала ей, что у Л. Н. перебои сердца. Она перепугалась: «Правда ли, что перебои?» – и успокоилась. Может быть, это последний заряд.

А. Л. Толстая. Из воспоминаний.

Уход из дома был бы ему легче, вознес бы его на еще более высокий пьедестал, умножил бы его славу... Крест, взятый им на себя, был во много раз тягостнее.

16 июля

Узнав, что я пишу дневник ежедневно, все окружающие принялись чертить вокруг меня *свои* дневники. Всем нужно меня обличать, обвинять и готовить злобный материал против меня за то, что я осмелилась заступиться за свои супружеские права и пожелать больше доверия и любви от мужа и отнятия дневников у Черткова.

Бог с ними со всеми; мне нужен мой муж, пока его *охлаждение* еще не заморозило меня, мне нужна справедливость и чистота совести, а не людской суд.

Ездил с Таней в Тулу; клали семь тетрадей дневников Льва Николаевича на хранение в Государственный банк. Это полумера, то есть уступка мне наполовину. От Черткова отнято, слава Богу, – но мне *никогда* уж при жизни Льва Ник – а их не придется видеть и читать. И это месть моего мужа. Когда их привезли от Черткова, я с волнением взяла их, перелистывала, искала, о чем и что там написано (хотя многое я раньше читала), и у меня было чувство, точно мне вернули мое пропадавшее любимое дитя и опять отнимают у меня. Воображаю, как на меня злится Чертков! Сегодня вечером он опять был у нас, и как я страдаю от ненависти и ревности к нему! Мать, у которой цыгане похитили бы ребенка, должна испытывать то, что я, когда ей вернули ее ребенка.

Положены дневники исключительно на имя Льва Ник – а, без Сухотина; и только он их может лично получить или по нотариальной доверенности.

Вечером был Чертков, торчит все чужой несносный англичанин, был Булгаков, М. А. Шмидт. Еще был Гольденвейзер, поиграл очень хорошо мазурки Шопена.

Лев Ник. со мной добрее, чем был раньше, и мне так радостно чувствовать его ласковый взгляд, который я ловлю с любовью. Он ездил без нас верхом с Булгаковым по лесам; на нездоровье не жалуется. О работах его мало знаю; хожу в так называемую *канцелярию*, где переписывают Саша и Варвара Михайловна, и пересматриваю по ночам бумаги и письма.

Есть письма, предисловие к копеечным книжечкам, статья о самоубийстве, начатые разные вещи, но ничего большого и серьезного.

Весь вечер страшная гроза и льет сильнейший дождь. Я ужасно тревожусь за Танин отъезд, особенно потому, что муж ее уехал к дочери, в Пирогово, хотел завтра выехать на станцию Лазарево, а теперь дорога испортится, и ему трудно будет проехать до станции. И Таня тревожна без мужа и дочери у нас, и мне ее очень жаль, хотя она меня за последнее время часто огорчала своей недоброжелательностью, осуждением ради заступничества за отца.

Господи! Какой дождь и шум грозы, ветра, листьев деревьев... Спать невозможно...

М. А. Шмидт в записи Д. П. Маковицкого от 27 июля 1910 г.

«Записки, – говорила она, – если писаны в раздраженном состоянии, будут раздражать; хорошие будут только те, которые записаны в добром состоянии». Еще потому она не вела записки, что боялась неточно передать слышанное. Она считает, что записки не должны содержать ничего личного, и лишь одни мысли. Она враг записывания того, что происходит между людьми, как, например, то, что теперь между Софьей Андреевной, Александрой Львовной, Чертковым и т. д. Записки только послужат к возникновению легенд, которыми будет в следующие века окутана личность Л. Н., и ими будет скрыта сущность его учения. Совершенно так же, как это случилось с Христом. И на писаниях Л. Н. наростут наросты, как на словах Иисуса, и учение его будет изуродовано и передаваемо людям так же искаженно, как учение Иисуса.

А. Л. Толстая. Из воспоминаний.

Как горько отцу приходилось расплачиваться за славу, то, за чем тщетно гонятся люди, жертвуя иногда жизнями, честью, совестью. И чем ближе отец подходил к смерти, тем равнодушнее становился он к славе людской. <...>

От этой своей знаменитости уйти он не мог. Все окружение отца, даже самые близкие, купаясь в его славе, ни минуты не забывали об этом. Все, даже святой Душан, записывали, снимали, запечатлевали для потомства...

Должна признаться – потомство мало меня беспокоило. Меня мучило только одно: как уберечь, сохранить, как сделать так, чтобы был спокоен, счастлив мой самый любимый на свете, старенький, с седыми локонами на затылке, такой худой, беззащитный, слабеющий отец?!

В. Ф. Булгаков. Дневниковая запись.

Утром Лев Николаевич говорил о письме, полученном им от петербургского журналиста А. М. Хирьякова:

– Какое пустое письмо Хирьякова! Шуточки о самых серьезных и важных предметах. Он не может понять, что познать себя – не значит копаться в самом себе, а значит познать свою духовную сущность, которая составляет основу движения жизни. Что значит не иметь религиозно-философского отношения к вопросам жизни! Все мудрецы мира учили, что самопознание имеет глубокое, огромное значение, а Хирьяков с госпожой Курдюковой решили, что это такое глубокомыслие, в которое провалишься и т. д. Бог знает что такое!

Ездили вместе верхом далеко-далеко, сделав большой круг. Открыли новую дорогу: сначала по крутому косогору вверх, по тропинке между молодыми березами, со сверкающими от пробивающегося сквозь листву солнца частыми белыми стволами; потом по глухой дороге, а потом, и главное, по бесконечной узкой просеке, с препятствиями, которые приходилось брать: то склоненные с двух сторон над дорогой и переплетенные ветвями между собой деревья (их объезжали с большим трудом по частому, почти непролазному молодому лесу), то канавы, то крутые спуски и такие же крутые подъемы...

Когда свертывали с дороги в эту просеку, Лев Николаевич произнес свое обычное:

– Попробую дорожку!

На середине я было предложил ему вернуться, но он не хотел.

– Вы совсем не помните этой дорожки, Лев Николаевич? – спросил я через некоторое время, видя, что просеке конца-края нет.

– Совсем не помню.

– Куда же она может вывести?

– Понятия не имею! Куда-нибудь выедем. Вот это-то и интересно, куда она выведет.

Все-таки выехали на дорогу. Вернулись через Овсянниково и Засеку. Поехали на Засеке не мимо дач, а в объезд, по лесу.

– Что и требовалось доказать! – воскликнул Лев Николаевич, когда мы благополучно выехали к железнодорожному мосту у станции.

А вечером говорил:

– Мне не хотелось, чтобы мне кричали: «Здравствуйте, Лев Николаевич!» – и я объехал дачи лесом. Какая хорошая тропинка!

Л. Н. Толстой. Дневник.

Жив, но плох телом. Душой бодрюсь. Милый Миша Сухотин уехал, и Таня. Потом и Соня. Она спала, но все угрожающе. Ходил гулять. Хорошо молился. Понял свой грех относительно Льва: не оскорбляться, а надо любить. Какая нелепость: равнять и чтоб одно могло перевешивать другое: оскорбление и любовь – не любовь к Ивану, к Петру, а любовь как жизнь в Боге, с Богом, Богом. Хочу поговорить с ним. Американец – пишет, сочиняет, и, кажется, пустое. Вернувшись с прогулки, наткнулся на него, потом учитель из Вятки с женою. Тоже пишет. Но очень милый. Поговорил с ним. Окончил последнюю корректуру. Хотел взяться за «О безумии», но не был в силах. Сейчас надо записать из книжки:

1) Мы живем безумной жизнью, знаем в глубине души, что живем безумно, но продолжаем по привычке, по инерции жить ею, или не хотим, или не можем, или то и другое, изменить ее.

2) ...Нынче 13 июля, во-первых, освободился от чувства оскорбления и недоброжелательства к Льву и, второе, главное, от жалости к себе. Мне надо только благодарить Бога за мягкость наказания, которое я несу за все грехи моей молодости и главный грех – половой нечистоты при брачном соединении с чистой девушкой. Поделом тебе, пакостный развратник. Можно только быть благодарным за мягкость наказания. И как много легче нести наказание, когда знаешь за что. Не чувствуешь тяготы. Ездил с Булгаковым верхом далеко. Устал. Сон, обед. Гольденвейзер, Чертков. Тяжелое настроение. С. А. недурна. Гольденвейзер прекрасно играл. Гроза.

17 июля

Утром уехала дочь Таня. Гроза прошла. Легла поздно и проспала до двенадцати часов; встала совсем разбитая, и первая мысль – о дневниках Льва Николаевича. Вчера ночью я прочла мое письмо к Черткову Тане вслух, приложенное в этой тетради, и подумала: если б Чертков любил действительно Льва Ник – а, он на мою просьбу отдать дневники, видя мое безумное волнение, не допустил бы, чтоб мы все были так несчастливы, как это последнее время, – а с чуткостью доброго и порядочного человека (чего в нем совсем нет) привез бы их, отдал бы по праву – не мне, а Льву Николаевичу и брал бы для работ своих по одной тетради, возвращая ее опять-таки Льву Николаевичу. Нет, ему *овладеть драгоценными тетрадями* было дороже, конечно, спокойствия Л. Н., и только его решительное требование заставило эту тупицу отдать дневники.

Что же теперь лучше, как есть? Теперь горе всей семье в продолжение двух недель – дневники никому не доступны, – и Лев Ник. предлагает мне, если я хочу, – *никогда* ему не видать Черткова. Чертков вступил со мной в открытую борьбу. Пока победила я, но прямо и правдиво говорю: я выкупила дневники ценою жизни и впредь будет то же. А Черткова за это возненавидела. Лев Ник – ч был встревожен сегодня тем, что вчера ночью Чертков, Гольденвейзер и Булгаков в эту страшную грозу и ливень вывалились из тележки, сломали ее, отпрягли лошадь и пошли домой пешком. Видя его тревогу, я пересилила себя и сказала: «Ты, верно, поедешь верхом к Черткову?» Лев Ник. мне на это ответил: «Если тебе это неприятно, я не поеду». Хотя трудно было, но я ни за что не хочу огорчать моего дорогого старичка и уговорила его ехать к Черткову; он и поехал один, и, разумеется, коллекционеру Черткову нужны только фотографии и рукописи, и он тотчас же снял Льва Н – а цветной фотографией. Когда Л. Н. мне сказал, что он и вечером приедет, то я запротестовала опять всем моим существом, но смирилась. Лев же Ник. сам просил Варвару Михайловну доехать до Черткова и отказать ему приезд вечером. Вечером я гуляла спокойно с приехавшими Лизой Оболенской и Верочкой Толстой; Лев Ник. играл в шахматы с Гольденвейзером, потом прошелся, пил чай и рано ушел. Позировала много для моего бюста, и Лева лепил усердно, и дело подвигается.

Узнала сегодня от Льва Николаевича, что дневники его сначала были спрятаны у дочери Саши, а Саша по требованью Черткова передала их молодому Сергеенке, который и свез их Черткову 26 ноября 1909 года тихонько от меня.

Какие гнусные, тайные поступки! Какая сеть обмана, скрываний от меня! Лжи! Ну не предательница ли моя дочь Саша? И какое притворство, когда Лев Никол. на вопрос мой «где дневники?» взял меня за руку и повел к Саше, будто он не знает, а Саша может знать, где дневники? И Саша ответила тоже, что не знает, и солгала. А Лев Никол., вероятно, забыл, что дал их увезти к Черткову.

Как все вокруг Льва Ник – а наловчились лгать и всячески хитрить, изворачиваться и оправдываться! Я ненавижу ложь; недаром говорят, что дьявол – отец лжи. А в нашей ясной, светлой семейной атмосфере никогда этого не было и завелось только с тех пор, как в доме чертковско-чертовщинное влияние. Недаром их фамилия от слова: ч е р т.

Список лиц, не любящих Черткова и заявивших мне об этом:

М. А. Шмидт,
Н. В. Давыдов,
М. С. Сухотин,
Н. Н. Ге,
И. И. Горбунов,
mister Maude,

Е. Ф. Юнге. Все мои сыновья и я сама, П. И. Бирюков, Зося Стахович. Вероятно, и еще много таких, каких я не знаю.

Сегодня Лева мне сказал, что Чертков, сходя с лестницы, при всех сказал про меня: «Какая же это женщина, которая всю жизнь занимается *убийством* своего мужа». Сам напустил смрад в наш дом, от которого все мы задыхаемся, и вопреки справедливости и мнению всего мира, признавшего мою любовь и заботу о жизни мужа, этот господин меня обвиняет в *убийстве его*. Он рвет и мечет, что у меня на него открылись глаза и я поняла его фарисейство, и ему хочется мстить мне. Но я этого не боюсь.

Д. П. Маковицкий. Из воспоминаний.

В доме Толстых не было тайн. Лев Николаевич все говорил такое, что мог сказать всем; а чего не мог сказать всем, того не говорил и близким. Это – как общее правило. Софья Андреевна что доверяла близким, то высказывала и при всех – домашних, гостях и случайных посетителях. От живших у Толстых секретарей, учителей, докторов, переписчиков, художников, прислуги не скрывали ничего; не делали тайн и от родственников, гостей, друзей...

Л. Н. Толстой. Дневник.

Мало спал. Проводил милую Танечку. Ходил гулять. Вернувшись, ничего не мог делать. Читал письма и Паскаля. С Львом вчера разговор, и нынче он объяснил мне, что я виноват. Надо молчать и стараться не иметь недоброго чувства. Саша уехала в Тулу. Теперь двенадцать часов. Очень, очень слаб, ничего не работал. Читал чудного Паскаля. Потом ездил к Черткову. Довольно хорошо обошлось. Вечер и обед скучно. Гольденвейзер. Посидел у Саши приятно.

18 июля

С утра мне было очень тяжело, тоскливо, мрачно и хотелось плакать. Я думала, что если Лев Никол. так тщательно прячет свои дневники от меня именно, чего никогда раньше не было, – то в них что-нибудь есть такое, что надо скрывать именно от меня; так как они были и у Саши, и у Черткова, а теперь закабалены в банк. Промучившись сомнениями и подозрениями всю ночь и весь день, я высказала Льву Ник – у и выразила подозрение, что он мне изменил так или иначе, записал это в дневники и теперь скрывает и прячет их. Он начал уверять, что это неправда, что он никогда не изменял мне. Так зачем же их прятать? Из злобы и упрямства? Ведь если там много хороших мыслей, то они могли бы мне принести только пользу... Но нет, если скрывают, то *наверное* что-нибудь дурное. Я *ничего* не скрываю: ни дневников, ни своих «Записок», пусть весь мир читает и судит. Какое мне дело до людского суда! Знаю свою чистую жизнь, знаю, что читаю теперь, как книгу, все ощущения и самую суть природы и характера моего мужа, скорблю и ужасаюсь! Но я еще *привязана* к нему, к сожалению! Как я напонила Льву Ник – у, что после того, как Чертков написал записку об отдаче дневников после окончания над ними работ Льву Ник – у, он хотел тоже *написать* обещание мне их отдать, но раздумал, сказав: «Какие же расписки жене, обещал и отдам», – он сделал злое лицо и сказал: «Я этого не говорил». – «Да ведь у меня записано это в дневнике 1 июля, и Чертков свидетель», – сказала я.

Тогда Л. Н. сейчас же отклонил этот разговор и начал кричать: «Я все отдал: состояние, сочинения, оставил себе только дневники, и те я должен отдать... Я тебе писал, что я уйду, и уйду, если ты будешь меня мучить».

А что значит: *отдал все*? Прав на сочинения он не отдал, а навалил на мою женскую спину *управление* всем имуществом, устройство жизни, в которой сам живет и пользуется всеми благами гораздо больше меня. А у меня только вечный, непосильный труд. Но в том-то и дело, что мне *отдавать* дневников и не нужно; пусть они будут у Льва Ник – а до конца его жизни. Мне только обидно и больно, что их *скрывают* именно от меня у Саши, Сергеенки, Черткова, – везде и у всех, но только *не смей* в них заглядывать жена...

Ходили после обеда в Елочки гулять: приехавший Дунаев, Лев Ник., Лева, Лизонька и я. Пропасть маленьких маслят. Жара весь день томительная. Писала: Е. Ф. Юнге, Масловой, Кате, Бельской; послала артельщику письмо и перевод в 195 рублей.

Приходила Николаева, приезжал Чертков, Гольденвейзер, пили чай на балконе. Читала Лизоньке кое-что из старых записок Л. Н., и она ужасалась порочности Л. Н. – а в его молодости и страдала от всего того, что я ей разоблачила о ее дядюшке, которого она считала святым.

За то, что я во многом прозрела, Лев Никол. ненавидит меня, и упорное отнятие дневников есть ближайшее орудие уязвить и наказать меня. Ох уж это напускное христианство с злобой на самых близких вместо простой доброты и честной безбоязненной откровенности!

Л. Н. Толстой. Дневник.

Жив, но плох. Все та же слабость. Ничего не работаю, кроме ничтожных писем и чтения Паскаля. С. А. опять взволнованна. «Я изменил ей и оттого скрываю дневники». И потом жалеет, что мучает меня. Неукротимая ненависть к Черткову. К Лева чувствую непреодолимое отдаление. И скажу ему, постараюсь любя, *son fait*⁶⁰. Был господин писатель

⁶⁰ Всю правду (фр.).

тяжелый. Ездил в Тихвинское. Очень устал. Вечером были Гольденвейзер и Чертков, и С. А. готова была выйти из себя. Ложусь спать.

19 июля

Разбили мое сердце, измучили и выписали докторов: Никитина и Россолимо. Бедные! они не знают, как можно лечить человека, которого со всех сторон морально изранили! Случайное чтение листка из старого дневника возмутило мою душу, мое спокойствие, и открыло глаза на теперешнее пристрастие к Черткову, и навеки отравило мое сердце. Сначала предложили мне такое лечение: Льву Н – уехать в одну сторону, мне – в другую, ему к Тане, мне – неизвестно куда. Потом, когда я расплакалась, увидав, что вся цель окружающих меня – удалить от Льва Николаевича, я на это не согласилась. Тогда, видя свое бессилие, доктора начали советовать: ванны, гулять, не волноваться... Просто смешно! Никитин удивляется, как я исхудала. Все только от горя и уязвленного любящего сердца, а они – уезжай! то есть то, что больше всего.

Ездила купаться, и мне стало хуже. Уходила вода из Воронки – как моя жизнь, и пока утопиться в ней трудно; ездила главное, чтоб примериться, насколько можно углубиться в воде Воронки.

Мыла шляпу Льва Николаевича. Он в самую жару ездил в Овсянниково, потом не обедал и имеет усталый вид. Еще бы! 16 верст верховой езды при температуре в 36 градусов на солнце! Вечером играл в шахматы с Гольденвейзером. Я ничего с ним не говорила сегодня, я боюсь расстроить его, да и себя. Позировала для Левы, с ним все хорошо; поправляла корректуры, но опять не послала, не могу работать... И теперь поздно, надо ложиться спать, а спать не хочется...

В. Ф. Булгаков. Дневниковая запись.

В Ясной гостит племянница Льва Николаевича, дочь его сестры Марии Николаевны, кн. Е. В. Оболенская.

Из-за жары в своем кабинете, выходящем окнами на юг, Лев Николаевич занимается в «ремингтонной». Одет в белую парусиновую пару.

Сегодня он получил приглашение участвовать в конгрессе мира в Стокгольме, если не лично, то присылкой доклада. Он шлет доклад, написанный еще в прошлом году, с сопроводительным письмом.

К своему рассказу «Из дневника», только что напечатанному в газетах, Лев Николаевич написал заключение. Чертков предполагал послать заключение в газеты, с припиской от своего имени о том, что напечатание его было бы желательным для Льва Николаевича. Лев Николаевич изменил приписку Чертова в том смысле, что Чертков считает заключение заслуживающим напечатания и потому посылает его в редакцию с разрешения Льва Николаевича.

– Я больше на него сваливаю, – сказал мне Лев Николаевич. – Пишу, что он считает эту вещь стоящей печати... Потому что я-то не считаю ее такой. Вы покажите мою приписку Владимиру Григорьевичу: если хочет, пусть он ее примет, если нет, пусть оставит по-старому.

Во время этого разговора вошла Софья Андреевна и, увидев в руках Льва Николаевича листок с текстом заключения, стала расспрашивать, что это за листок. Лев Николаевич стал объяснять ей, но она ничего не понимала. «Это письмо Черткову? Зачем Чертков? Можно ли мне переписать? Почему Черткову этот листок, а не тот, который она перепишет?» и т. д. и т. д. – сыпались вопросы один за другим. И в заключение:

– Я все-таки ничего не поняла!

– Очень жалко, – ответил Лев Николаевич, уже утомленным голосом, и добавил, когда Софья Андреевна вышла: – Как только Чертков, так у нее в голове все так путается, и она ничего не понимает, и бог знает что такое!..

Из Москвы приехали к больной Софье Андреевне доктор Д. В. Никитин и психиатр Г. И. Россолимо. За обедом Россолимо и Лев Николаевич вели разговор о причинах самоубийств. Лев Николаевич как на главную причину указывал на отсутствие веры. Россолимо называл причины: экономическую, культурную, физиологическую, биологическую и проч., а также, пожалуй, и отсутствие веры, то есть (перевел он на свой язык) отсутствие «точки, на которую можно было бы опереться». Никак сговориться с Львом Николаевичем он не мог, да и немудрено: говорили они на разных языках, поскольку Толстой скептически относился к медицине как к науке.

Вечером Лев Николаевич вышел к чаю на террасу. Софья Андреевна была занята у себя с докторами.

– Они мне хорошее лекарство прописали, – сказал Лев Николаевич, – которое я с удовольствием проглочу: уехать в Кочеты.

Сегодня врачи еще не составили своего заключения и потому остаются на завтра.

Ввиду того что отношения между Софьей Андреевной и В. Г. Чертковым продолжают оставаться неровными, Лев Николаевич, чтобы успокоить Софью Андреевну, решил уступить ей и просить Владимира Григорьевича временно не посещать Ясной Поляны. Поздно вечером он позвонил ко мне. Я вошел к нему в спальню, где Душан забинтовывал Льву Николаевичу больную ногу.

– Вы завтра пойдете к Черткову, – сказал Лев Николаевич, – следовательно, расскажите ему про все наши похождения. И скажите ему, что самое тяжелое во всем этом для меня – он. Для меня это истинно тяжело, но передайте, что на время я должен расстаться с ним. Не знаю, как он отнесется к этому.

Я высказал уверенность, что если Владимир Григорьевич будет знать, что это нужно Льву Николаевичу, то, без сомнения, он с готовностью примет и перенесет тяжесть временного лишения возможности видеться со Львом Николаевичем.

– Как же, мне это нужно, нужно! – продолжал Лев Николаевич. – Да письма его всегда были такие истинно дружеские, любовные. Я сам спокоен, мне только за него ужасно тяжело. Я знаю, что и Гале это будет тяжело. Но подумать, что эти угрозы самоубийства – иногда пустые, а иногда – кто их знает? – подумать, что может это случиться! Что же, если на моей совести будет это лежать?.. А что теперь происходит – для меня это ничего... Что у меня нет досуга или меньше – пускай!.. Да и чем больше внешние испытания, тем больше материала для внутренней работы... Вы передайте это бате. Наверное, мы не увидимся с вами утром.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.